

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

ФЕДОР
ДОСТОЕВСКИЙ



Подросток



МОСКВА
2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Д70

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В коллаже на обложке использованы репродукции работ художников *Уильяма Пауэлла Фрайта* и *Поля Густава Фишера*

Достоевский, Федор Михайлович.
Д70 Подросток / Федор Достоевский. — Москва : Эксмо, 2023. — 544 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-155471-2

В первых номерах «Отечественных записок» в 1875 году Достоевский публикует свой новый роман «Подросток». В исповеди Аркадия Долгорукого, Подростка, проанализирован сложный процесс становления личности в «безобразном», утратившем нравственные ценности мире, в обстановке «всеобщего разложения» и распада устоев общества... «Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннюю ненавистью за ничтожность и «случайность» свою...» Ф. Достоевский.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-155471-2

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю наверно: никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до ста лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвал читателя. Если я вдруг вздумал записать слово в слово всё, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности: до того я поражен всем совершившимся. Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное — от литературных красот; литератор пишет тридцать лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я — не литератор, литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью. С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно без описания чувств и без размышлений (может быть, даже пошлых): до того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя. Размышления же могут быть даже очень пошлы, потому что то, что сам ценишь, очень возможно, не имеет никакой цены на посторонний взгляд. Но всё это в сторону. Однако вот и предисловие; более, в этом роде, ничего не будет. К делу; хотя ничего нет мудренее, как приступить к какому-нибудь делу, — может быть, даже и ко всякому делу.

II

Я начинаю, то есть я хотел бы начать, мои записки с девятнадцатого сентября прошлого года, то есть ровно с того дня, когда я в первый раз встретил...

Но объяснить, кого я встретил, так, заранее, когда никто ничего не знает, будет пошло; даже, я думаю, и тон этот пошл: дав себе слово уклоняться от литературных красот, я с первой строки впадаю в эти красоты. Кроме того, чтобы писать толково, кажется, мало одного желания. Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском. Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написанного. Как это так выходит, что у человека умного высказанное им гораздо глупее того, что в нем остается? Я это не раз замечал за собой и в моих словесных отношениях с людьми за весь этот последний роковой год и много мучился этим.

Я хоть и начну с девятнадцатого сентября, а все-таки вставлю слова два о том, кто я, где был до того, а стало быть, и что могло быть у меня в голове хоть отчасти в то утро девятнадцатого сентября, чтоб было понятнее читателю, а может быть, и мне самому.

III

Я — кончивший курс гимназист, а теперь мне уже двадцать первый год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой — Мака́р Ива́нов Долгору́кий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я — законнорожденный, хотя я, в высшей степени, незаконный сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло таким образом: двадцать два года назад помещик Версильов (это-то и есть мой отец), двадцати пяти лет, посетил свое имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был еще чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою все мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенною загадкой. Но, собственно, об этом после. Этого так

не расскажешь. Этим человеком и без того будет наполнена вся тетрадь моя.

Он как раз к тому времени овдовел, то есть к двадцати пяти годам своей жизни. Женат же был на одной из высшего света, но не так богатой, Фанариотовой, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой, столь рано его оставившей, супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах; да и много из частных обстоятельств жизни Версилова от меня ускользнуло, до того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря, минутами, на поражающее как бы смирение его передо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего тысяч на четыреста с лишком и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки...

Приехал он тогда в деревню «Бог знает зачем», по крайней мере сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем, по обыкновению, а у родственников; так он всю жизнь поступал с своими детьми, с законными и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много; между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий. Вставлю здесь, чтобы раз навсегда отвязаться: редко кто мог столько вылиться на свою фамилию, как я, в продолжение всей моей жизни. Это было, конечно, глупо, но это было. Каждый-то раз, как я вступал куда-либо в школу или встречался с лицами, которым, по возрасту моему, был обязан отчетом, одним словом, каждый-то училищка, гувернер, инспектор, поп — все, кто угодно, спрося мою фамилию и услышав, что я Долгорукий, непременно находили для чего-то нужным прибавить:

— Князь Долгорукий?

И каждый-то раз я обязан был всем этим праздным людям объяснять:

— Нет, *просто* Долгорукий.

Это *просто* стало сводить меня наконец с ума. Замечу при сем, в виде феномена, что я не помню ни одного исключения: все спрашивали. Иным, по-видимому, это совершенно было не нужно; да и не знаю, к какому бы черту это могло быть хоть кому-нибудь нужно? Но все спрашивали, все до единого. Услыхав, что я *просто* Долгорукий, спрашивавший обыкновенно обмеривал меня тупым и глупо-равнодушным взглядом, свидетельствующим, что он сам не знает, зачем спросил, и уходил прочь. Товарищи-школьники спрашивали всех оскор-

бительнее. Школьник как спрашивает новичка? Затерявшийся и конфузющийся новичок, в первый день поступления в школу (в какую бы то ни было), есть общая жертва: ему приказывают, его дразнят, с ним обращаются как с лакеем. Здоровый и жирный мальчишка вдруг останавливается перед своей жертвой, в упор и долгим, строгим и надменным взглядом наблюдает ее несколько мгновений. Новичок стоит перед ним молча, косится, если не трус, и ждет, что-то будет.

— Как твоя фамилия?

— Долгорукий.

— Князь Долгорукий?

— Нет, просто Долгорукий.

— А, просто! Дурак.

И он прав: ничего нет глупее, как называться Долгоруким, не будучи князем. Эту глупость я таскаю на себе без вины. Впоследствии, когда я стал уже очень сердиться, то на вопрос: ты князь? всегда отвечал:

— Нет, я — сын дворового человека, бывшего крепостного.

Потом, когда уж я в последней степени озлился, то на вопрос: вы князь? твердо раз ответил:

— Нет, просто Долгорукий, незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова.

Я выдумал это уже в шестом классе гимназии, и хоть вскорости несомненно убедился, что глуп, но все-таки не сейчас перестал глупить. Помню, что один из учителей — впрочем, он один и был — нашел, что я «полон мстительной и гражданской идеи». Вообще же приняли эту выходку с какою-то обидною для меня задумчивостью. Наконец, один из товарищей, очень едкий малый и с которым я всего только в год раз разговаривал, с серьезным видом, но несколько смотря в сторону, сказал мне:

— Такие чувства вам, конечно, делают честь, и, без сомнения, вам есть чем гордиться; но я бы на вашем месте все-таки не очень праздновал, что незаконнорожденный... а вы точно именинник!

С тех пор я перестал *хвалиться*, что незаконнорожденный.

Повторю, очень трудно писать по-русски: я вот исписал целых три страницы о том, как я злился всю жизнь за фамилию, а между тем читатель наверно уж вывел, что злюсь-то я именно за то, что я не князь, а просто Долгорукий. Объясняться еще раз и оправдываться было бы для меня унижительно.

IV

Итак, в числе этой дворни, которой было множество и кроме Макара Иванова, была одна девица, и была уже лет восемнадцати, когда пятидесятилетний Макар Долгорукий вдруг обнаружил намерение на ней жениться. Браки дворовых, как известно, происходили во времена крепостного права с дозволения господ, а иногда и прямо по распоряжению их. При имении находилась тогда тетушка; то есть она мне не тетушка, а сама помещица; но, не знаю почему, все всю жизнь ее звали тетушкой, не только моей, но и вообще, равно как и в семействе Версилова, которому она чуть ли и в самом деле не сродни. Это — Татьяна Павловна Пруткова. Тогда у ней еще было в той же губернии и в том же уезде тридцать пять своих душ. Она не то что управляла, но по соседству надзирала над имением Версилова (в пятьсот душ), и этот надзор, как я слышал, стоил надзора какого-нибудь управляющего из ученых. Впрочем, до знаний ее мне решительно нет дела; я только хочу прибавить, откинув всякую мысль лести и заискивания, что эта Татьяна Павловна — существо благородное и даже оригинальное.

Вот она-то не только не отклонила супружеские наклонности мрачного Макара Долгорукого (говорили, что он был тогда мрачен), но, напротив, для чего-то в высшей степени их поощрила. Софья Андреева (эта восемнадцатилетняя дворовая, то есть мать моя) была круглою сиротою уже несколько лет; покойный же отец ее, чрезвычайно уважавший Макара Долгорукого и ему чем-то обязанный, тоже дворовый, шесть лет перед тем, помирая, на одре смерти, говорят даже, за четверть часа до последнего издыхания, так что за нужду можно бы было принять и за бред, если бы он и без того не был неспособен, как крепостной, подозревая Макара Долгорукого, при всей дворне и при присутствовавшем священнике, завещал ему вслух и настоятельно, указывая на дочь: «Взрасти и возьми за себя». Это все слышали. Что же до Макара Иванова, то не знаю, в каком смысле он потом женился, то есть с большим ли удовольствием или только исполняя обязанность. Вероятнее, что имел вид полного равнодушия. Это был человек, который и тогда уже умел «показать себя». Он не то чтобы был начетчик или грамотей (хотя знал церковную службу всю и особенно житие некоторых святых, но более понаслышке), не то чтобы был вроде, так сказать, дворового резонера, он просто был

характера упрямого, подчас даже рискованного; говорил с амбицией, судил бесповоротно и, в заключение, «жил почтительно», — по собственному удивительному его выражению, — вот он каков был тогда. Конечно, уважение он приобрел всеобщее, но, говорят, был всем несносен. Другое дело, когда вышел из двора: тут уж его не иначе поминали как какого-нибудь святого и много претерпевшего. Об этом я знаю наверно.

Что же до характера моей матери, то до восемнадцати лет Татьяна Павловна продержала ее при себе, несмотря на настояния приказчика отдать в Москву в ученье, и дала ей некоторое воспитание, то есть научила шить, кроить, ходить с девичьими манерами и даже слегка читать. Писать моя мать никогда не умела сносно. В глазах ее этот брак с Макаром Ивановым был давно уже делом решенным, и всё, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим; под венец пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях, так что сама уж Татьяна Павловна назвала ее тогда рыбой. Всё это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павловны. Версилов приехал в деревню ровно полгода спустя после этой свадьбы.

V

Я хочу только сказать, что никогда не мог узнать и удовлетворительно догадаться, с чего именно началось у него с моей матерью. Я вполне готов верить, как уверял он меня прошлого года сам, с краской в лице, несмотря на то, что рассказывал про всё это с самым непринужденным и «остроумным» видом, что романа никакого не было вовсе и что всё вышло *так*. Верю, что так, и русское словцо это: *так* — прелестно; но все-таки мне всегда хотелось узнать, с чего именно у них могло произойти. Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно только бесстыжее любопытство с моей стороны. Замечу, что мою мать я, вплоть до прошлого года, почти не знал вовсе; с детства меня отдали в люди, для комфорта Версилова, об чем, впрочем, после; а потому я никак не могу представить себе, какое у нее могло быть в то время лицо. Если она вовсе не была так хороша собой, то чем мог в ней прельститься такой человек, как тогдашний Версилов? Вопрос этот важен для меня тем, что в нем чрезвычайно любопытную стороною рисуется этот человек. Вот для чего я

спрашиваю, а не из разврата. Он сам, этот мрачный и закрытый человек, с тем милым простодушием, которое он черт знает откуда брал (точно из кармана), когда видел, что это необходимо, — он сам говорил мне, что тогда он был весьма «глупым молодым щенком» и не то что сентиментальным, а *так*, только что прочел «Антон Горемыку» и «Полиньку Сакс» — две литературные вещи, имевшие необъятное цивилизующее влияние на тогдашнее подрастающее поколение наше. Он прибавлял, что из-за «Антон Горемыки», может, и в деревню тогда приехал, — и прибавлял чрезвычайно серьезно. В какой же форме мог начать этот «глупый щенок» с моей матерью? Я сейчас вообразил, что если б у меня был хоть один читатель, то наверно бы расхохотался надо мной, как над смешнейшим подростком, который, сохранив свою глупую невинность, суется рассуждать и решать, в чем не смыслит. Да, действительно, я еще не смыслю, хотя сознаюсь в этом вовсе не из гордости, потому что знаю, до какой степени глупа в двадцатилетнем верзиле такая неопытность; только я скажу этому господину, что он сам не смыслит, и докажу ему это. Правда, в женщинах я ничего не знаю, да и знать не хочу, потому что всю жизнь буду плевать и дал слово. Но я знаю, однако же, наверно, что иная женщина обольщает красотой своей, или там чем знает, в тот же миг; другую же надо полгода разжевывать, прежде чем понять, что в ней есть; и чтобы рассмотреть такую и влюбиться, то мало смотреть и мало быть просто готовым на что угодно, а надо быть, сверх того, чем-то еще одаренным. В этом я убежден, несмотря на то что ничего не знаю, и если бы было противное, то надо бы было разом низвести всех женщин на степень простых домашних животных и в таком только виде держать их при себе; может быть, этого очень многим хотелось бы.

Я знаю из нескольких рук положительно, что мать моя красавицей не была, хотя тогдашнего портрета ее, который где-то есть, я не видал. С первого взгляда в нее влюбиться, стало быть, нельзя было. Для простого «развлечения» Версиков мог выбрать другую, и такая там была, да еще незамужняя, Анфиса Константиновна Сапожкова, сенная девушка. А человеку, который приехал с «Антоном Горемыкой», разрушать, на основании помещичьего права, святость брака, хотя и своего дворового, было бы очень зазорно перед самим собою, потому что, повторяю, про этого «Антон Горемыку» он еще не далее как несколько месяцев тому назад, то есть двадцать лет спустя,

говорил чрезвычайно серьезно. Так ведь у Антона только лошадь увели, а тут жену! Произошло, значит, что-то особенное, отчего и проиграла mademoiselle Сапожкова (по-моему, выиграла). Я пристаивал к нему раз-другой прошлого года, когда можно было с ним разговаривать (потому что не всегда можно было с ним разговаривать), со всеми этими вопросами и заметил, что он, несмотря на всю свою светскость и двадцатилетнее расстояние, как-то чрезвычайно кривился. Но я настоял. По крайней мере с тем видом светской брезгливости, которую он неоднократно себе позволял со мною, он, я помню, однажды промямлил как-то странно: что мать моя была одна такая особа из незащищенных, которую не то что полюбишь, — напротив, вовсе нет, — а как-то вдруг почему-то *пожалеешь*, за кротость, что ли, впрочем, за что? — это всегда никому не известно, но пожалеешь надолго; пожалеешь и привяжешься... «Одним словом, мой милый, иногда бывает так, что и не отвяжешься». Вот что он сказал мне; и если это действительно было так, то я принужден почесть его вовсе не таким тогдашним глупым щенком, каким он сам себя для того времени аттестует. Это-то мне и надо было.

Впрочем, он тогда же стал уверять, что мать моя полюбила его по «приниженности»: еще бы выдумал, что по крепостному праву! Соврал для шику, соврал против совести, против чести и благородства!

Всё это, конечно, я наговорил в какую-то как бы похвалу моей матери, а между тем уже заявил, что о ней, тогдашней, не знал вовсе. Мало того, я именно знаю всю непроходимость той среды и тех жалких понятий, в которых она зачерствела с детства и в которых осталась потом на всю жизнь. Тем не менее беда совершилась. Кстати, надо поправиться: улетев в облака, я забыл об факте, который, напротив, надо бы выставить прежде всего, а именно: началось у них прямо *с беды*. (Я надеюсь, что читатель не до такой степени будет ломаться, чтоб не понять сразу, об чем я хочу сказать.) Одним словом, началось у них именно по-помещичьи, несмотря на то что была обойдена mademoiselle Сапожкова. Но тут уже я вступлюсь и заранее объявляю, что вовсе себе не противоречу. Ибо об чем, о господи, об чем мог говорить в то время такой человек, как Версиков, с такою особою, как моя мать, даже и в случае самой неотразимой любви? Я слышал от развратных людей, что весьма часто мужчина, с женщиной сходясь, начинает совершенно

молча, что, конечно, верх чудовищности и тошноты; тем не менее Версилов, если б и хотел, то не мог бы, кажется, иначе начать с моею матерью. Неужели же начать было объяснять ей «Полиньку Сакс»? Да и сверх того, им было вовсе не до русской литературы; напротив, по его же словам (он как-то раз расходился), они прятались по углам, поджидали друг друга на лестницах, отскакивали как мячики, с красными лицами, если кто проходил, и «тиран помещик» трепетал последней поломойки, несмотря на всё свое крепостное право. Но хоть и по-помещичьи началось, а вышло так, да не так, и, в сущности, все-таки ничего объяснить нельзя. Даже мраку больше. Уж одни размеры, в которые развилась их любовь, составляют загадку, потому что первое условие таких, как Версилов, — это тотчас же бросить, если достигнута цель. Не то, однако же, вышло. Согрешить с миловидной дворовой вертушкой (а моя мать не была вертушкой) развратному «молодому щенку» (а они были все развратны, все до единого — и прогрессисты и ретрограды) — не только возможно, но и неминуемо, особенно взяв романическое его положение молодого вдовца и его бездельничанье. Но полюбить на всю жизнь — это слишком. Не ручаюсь, что он любил ее, но что он таскал ее за собою всю жизнь — это верно.

Вопросов я наставил много, но есть один самый важный, который, замечу, я не осмелился прямо задать моей матери, несмотря на то что так близко сошелся с нею прошлого года и, сверх того, как грубый и неблагодарный щенок, считающий, что *перед ним виноваты*, не церемонился с нею вовсе. Вопрос следующий: как она-то могла, она сама, уже бывшая полгода в браке, да еще придавленная всеми понятиями о законности брака, придавленная, как бессильная муха, она, уважавшая своего Макара Ивановича не меньше чем какого-то Бога, как она-то могла, в какие-нибудь две недели, дойти до такого греха? Ведь не развратная же женщина была моя мать? Напротив, скажу теперь вперед, что быть более чистой душой, и так потом во всю жизнь, даже трудно себе и представить. Объяснить разве можно тем, что сделала она не помня себя, то есть не в том смысле, как уверяют теперь адвокаты про своих убийц и воров, а под тем сильным впечатлением, которое, при известном простодушии жертвы, овладевает фатально и трагически. Почем знать, может быть, она полюбила до смерти... фасон его платья, парижский пробор волос, его французский выговор,

именно французский, в котором она не понимала ни звука, тот романс, который он спел за фортепьяно, полюбила нечто никогда не виданное и не слыханное (а он был очень красив собою), и уж заодно полюбила, прямо до изнеможения, всего его, с фасонами и романсами. Я слышал, что с дворовыми девушками это иногда случалось во времена крепостного права, да еще с самыми честными. Я это понимаю, и подлец тот, который объяснит это лишь одним только крепостным правом и «приниженностью»! Итак, мог же, стало быть, этот молодой человек иметь в себе столько самой прямой и обольстительной силы, чтобы привлечь такое чистое до тех пор существо и, главное, такое совершенно разнородное с собою существо, совершенно из другого мира и из другой земли, и на такую явную гибель? Что на гибель — это-то и мать моя, надеюсь, понимала всю жизнь; только разве когда шла, то не думала о гибели вовсе; но так всегда у этих «беззащитных»: и знают, что гибель, а лезут.

Согрешив, они тотчас покаялись. Он с остроумием рассказывал мне, что рыдал на плече Макара Ивановича, которого нарочно призвал для сего случая в кабинет, а она — она в то время лежала где-то в забытии, в своей дворовой клетушке...

VI

Но довольно о вопросах и скандальных подробностях. Версилов, выкупив мою мать у Макара Иванова, вскорости уехал и с тех пор, как я уже и прописал выше, стал ее таскать за собою почти повсюду, кроме тех случаев, когда отлучался подолгу; тогда оставлял большею частью на попечении тетушки, то есть Татьяны Павловны Прутковой, которая всегда откуда-то в таких случаях подвергивалась. Живали они и в Москве, живали по разным другим деревням и городам, даже за границей и, наконец, в Петербурге. Обо всем этом после или не стоит. Скажу лишь, что год спустя после Макара Ивановича явился на свете я, затем еще через год моя сестра, а затем уже лет десять или одиннадцать спустя — болезненный мальчик, младший брат мой, умерший через несколько месяцев. С мучительными родами этого ребенка кончилась красота моей матери, — так по крайней мере мне сказали: она быстро стала стареть и хилеть.

Но с Макаром Ивановичем сношения все-таки никогда не прекращались. Где бы Версиловы ни были, жили ли по несколь-

ку лет на месте или переезжали, Макар Иванович непременно уведомлял о себе «семейство». Образовались какие-то странные отношения, отчасти торжественные и почти серьезные. В господском быту к таким отношениям непременно примешалось бы нечто комическое, я это знаю; но тут этого не вышло. Письма присылались в год по два раза, не более и не менее, и были чрезвычайно одно на другое похожие. Я их видел; в них мало чего-нибудь личного; напротив, по возможности одни только торжественные извещения о самых общих событиях и о самых общих чувствах, если так можно выразиться о чувствах: извещения прежде всего о своем здоровье, потом спросы о здоровье, затем пожелания, торжественные поклоны и благословения — и все. Именно в этой общности и безличности и полагается, кажется, вся порядочность тона и всё высшее знание обращения в этой среде. «Достолюбезной и почтенной супруге нашей Софье Андреевне посылаю наш нижайший поклон»... «Любезным деткам нашим посылаю родительское благословение наше вовеки нерушимое». Детки все прописывались поимяннно, по мере их накопления, и я тут же. При этом замечу, что Макар Иванович был настолько остроумен, что никогда не прописывал «его высокородия достопочтеннейшего господина Андрея Петровича» своим «благодетелем», хотя и прописывал неуклонно в каждом письме свой всенижайший поклон, испрашивая у него милости, а на самого его благословение Божие. Ответы Макару Ивановичу посылались моею матерью вскорости и всегда писались в таком же точно роде. Версилов, разумеется, в переписке не участвовал. Писал Макар Иванович из разных концов России, из городов и монастырей, в которых подолгу иногда проживал. Он стал так называемым странником. Никогда ни о чем не просил; зато раз года в три непременно являлся домой на побывку и останавливался прямо у матери, которая, всегда так приходилось, имела свою квартиру, особую от квартиры Версилова. Об этом мне придется после сказать, но здесь лишь замечу, что Макар Иванович не разваливался в гостиной на диванах, а скромно помещался где-нибудь за перегородкой. Проживал недолго, дней пять, неделю.

Я забыл сказать, что он ужасно любил и уважал свою фамилию «Долгорукий». Разумеется, это — смешная глупость. Всего глупее то, что ему нравилась его фамилия именно потому, что есть князья Долгорукие. Странное понятие, совершенно вверх ногами!

Если я и сказал, что всё семейство всегда было в сборе, то кроме меня, разумеется. Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях. Но тут не было никакого особенного намерения, а просто как-то так почему-то вышло. Родив меня, мать была еще молода и хороша, а стало быть, нужна ему, а крикун ребенок, разумеется, был всему помехою, особенно в путешествиях. Вот почему и случилось, что до двадцатого года я почти не видал моей матери, кроме двух-трех случаев мельком. Произошло не от чувств матери, а от высокомерия к людям Версилова.

VII

Теперь совсем о другом.

Месяц назад, то есть за месяц до девятнадцатого сентября, я, в Москве, порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно. Я так и прописываю это слово: «уйти в свою идею», потому что это выражение может обозначить почти всю мою главную мысль — то самое, для чего я живу на свете. Что это за «своя идея», об этом слишком много будет потом. В уединении мечтательной и многолетней моей московской жизни она создалась у меня еще с шестого класса гимназии и с тех пор, может быть, ни на миг не оставляла меня. Она поглотила всю мою жизнь. Я и до нее жил в мечтах, жил с самого детства в мечтательном царстве известного оттенка; но с появлением этой главной и всё поглотившей во мне идеи мечты мои скрепились и разом отлились в известную форму: из глупых сделались разумными. Гимназия мечтам не мешала; не помешала и идее. Прибавлю, однако, что я кончил гимназический курс в последнем году плохо, тогда как до седьмого класса всегда был из первых, а случилось это вследствие той же идеи, вследствие вывода, может быть ложного, который я из нее вывел. Таким образом, не гимназия помешала идее, а идея помешала гимназии, помешала и университету. Кончив гимназию, я тотчас же вознамерился не только порвать со всеми радикально, но если надо, то со всем даже миром, несмотря на то что мне был тогда всего только двадцатый год. Я написал кому следует, через кого следует в Петербург, чтобы меня окончательно оставили в покое, денег на содержание мое больше не присылали и, если возможно, чтоб забыли меня вовсе (то есть, разумеется, в случае, если меня сколько-нибудь помнили), и, наконец, что

в университет я «ни за что» не поступлю. Дилемма стояла передо мной неотразимая: или университет и дальнейшее образование, или отдалить немедленное приложение «идеи» к делу еще на четыре года; я бестрепетно стал за идею, ибо был математически убежден. Версилов, отец мой, которого я видел всего только раз в моей жизни, на миг, когда мне было всего десять лет (и который в один этот миг успел поразить меня), Версилов, в ответ на мое письмо, не ему, впрочем, посланное, сам вызвал меня в Петербург собственноручным письмом, обещающая частное место. Этот вызов человека, сухого и гордого, ко мне высокомерного и небрежного и который до сих пор, родив меня и бросив в люди, не только не знал меня вовсе, но даже в этом никогда не раскаивался (кто знает, может быть, о самом существовании моем имел понятие смутное и неточное, так как оказалось потом, что и деньги не он платил за содержание мое в Москве, а другие), вызов этого человека, говорю я, так вдруг обо мне вспомнившего и удостоившего собственноручным письмом, — этот вызов, прельстив меня, решил мою участь. Странно, мне, между прочим, понравилось в его письмеце (одна маленькая страничка малого формата), что он ни слова не упомянул об университете, не просил меня перемнить решение, не укорял, что не хочу учиться, — словом, не выставял никаких родительских финтифлюшек в этом роде, как это бывает по обыкновению, а между тем это-то и было худо с его стороны в том смысле, что еще пуще обозначало его ко мне небрежность. Я решился ехать еще и потому, что это вовсе не мешало моей главной мечте. «Посмотрю, что будет, — рассуждал я, — во всяком случае я связываюсь с ними только на время, может быть, на самое малое. Но чуть увижу, что этот шаг, хотя бы и условный и малый, все-таки отдалит меня от *главного*, то тотчас же с ними порву, брошу всё и уйду в свою скорлупу». Именно в скорлупу! «Спрячусь в нее, как черепаха»; сравнение это очень мне нравилось. «Я буду не один, — продолжал я раскидывать, ходя как угорелый все эти последние дни в Москве, — никогда теперь уже не буду один, как в столько ужасных лет до сих пор: со мной будет моя идея, которой я никогда не изменю, даже и в том случае, если б они мне все там понравились, и дали мне счастье, и я прожил бы с ними хоть десять лет!» Вот это-то впечатление, замечу вперед, вот именно эта-то двойственность планов и целей моих, определившаяся еще в Москве и которая не оставляла меня ни на один миг

в Петербурге (ибо не знаю, был ли такой день в Петербурге, который бы я не ставил впереди моим окончательным сроком, чтобы порвать с ними и удалиться), — эта двойственность, говорю я, и была, кажется, одною из главнейших причин многих моих неосторожностей, наделанных в году, многих мерзостей, многих даже низостей и, уж разумеется, глупостей.

Конечно, у меня вдруг являлся отец, которого никогда прежде не было. Эта мысль пьянила меня и при сборах в Москве, и в вагоне. Что отец — это бы еще ничего, и нежностей я не любил, но человек этот меня знать не хотел и унизил, тогда как я мечтал о нем все эти годы взасос (если можно так о мечте выразиться). Каждая мечта моя, с самого детства, отзывалась им: витала около него, сводилась на него в окончательном результате. Я не знаю, ненавидел или любил я его, но он наполнил собою всё мое будущее, все расчеты мои на жизнь, — и это случилось само собою, это шло вместе с ростом.

Повлияло на мой отъезд из Москвы и еще одно могущественное обстоятельство, один соблазн, от которого уже и тогда, еще за три месяца пред выездом (стало быть, когда и помину не было о Петербурге), у меня уже поднималось и билось сердце! Меня тянуло в этот неизвестный океан еще и потому, что я прямо мог войти в него властелином и господином даже чужих судеб, да еще чьих! Но великодушные, а не деспотические чувства кипели во мне — предупеждаю заранее, чтоб не вышло ошибки из слов моих. К тому же Версильов мог думать (если только удостоивал обо мне думать), что вот едет маленький мальчик, отставной гимназист, подросток, и удивляется на весь свет. А я меж тем уже знал всю его подноготную и имел на себе важнейший документ, за который (теперь уж я знаю это наверно) он отдал бы несколько лет своей жизни, если б я открыл ему тогда тайну. Впрочем, я замечаю, что наставил загадок. Без фактов чувств не опишешь. К тому же обо всем этом слишком довольно будет на своем месте, затем и перо взял. А так писать — похоже на бред или облако.

VIII

Наконец, чтобы перейти к девятнадцатому числу окончательно, скажу пока вкратце и, так сказать, мимоходом, что я застал их всех, то есть Версильова, мать и сестру мою (последнюю я увидал в первый раз в жизни), при тяжелых обстоя-

тельстввах, почти в нищете или накануне нищеты. Об этом я узнал уж и в Москве, но все же не предполагал того, что увидел. Я с самого детства привык воображать себе этого человека, этого «будущего отца моего» почти в каком-то сиянии и не мог представить себе иначе, как на первом месте везде. Никогда Версиров не жил с моею матерью на одной квартире, а всегда нанимал ей особенную: конечно, делал это из подлейших ихних «приличий». Но тут все жили вместе, в одном деревянном флигеле, в переулке, в Семеновском полку. Все вещи уже были заложены, так что я даже отдал матери, таинственно от Версирова, мои таинственные шестьдесят рублей. Именно *таинственные* потому, что были накоплены из карманных денег моих, которых отпускалось мне по пяти рублей в месяц, в продолжение двух лет; копление же началось с первого дня моей «идеи», а потому Версиров не должен был знать об этих деньгах ни слова. Этого я трепетал.

Эта помощь оказалась лишь каплей. Мать работала, сестра тоже брала шитье; Версиров жил праздно, капризился и продолжал жить со множеством прежних, довольно дорогих привычек. Он брюзжал ужасно, особенно за обедом, и все приемы его были совершенно деспотические. Но мать, сестра, Татьяна Павловна и всё семейство покойного Андроникова (одного месяца три перед тем умершего начальника отделения и с тем вместе заправлявшего делами Версирова), состоявшее из бесчисленных женщин, благоговели перед ним, как перед фетишем. Я не мог представить себе этого. Замечу, что девять лет назад он был несравненно изящнее. Я сказал уже, что он остался в мечтах моих в каком-то сиянии, а потому я не мог вообразить, как можно было так постареть и истереться всего только в девять каких-нибудь лет с тех пор: мне тотчас же стало грустно, жалко, стыдно. Взгляд на него был одним из тяжелейших моих первых впечатлений по приезде. Впрочем, он был еще вовсе не старик, ему было всего сорок пять лет; вглядываясь же дальше, я нашел в красоте его даже что-то более поражающее, чем то, что уцелело в моем воспоминании. Меньше тогдашнего блеску, менее внешности, даже изящного, но жизнь как бы оттиснула на этом лице нечто гораздо более любопытное прежнего.

А между тем нищета была лишь десятой или двадцатой долей в его неудачах, и я слишком знал об этом. Кроме нищеты, стояло нечто безмерно серьезнейшее, — не говоря уже о том,

что все еще была надежда выиграть процесс о наследстве, затеянный уже год у Версилова с князьями Сокольскими, и Версилов мог получить в самом ближайшем будущем имение, ценностью в семьдесят, а может и несколько более тысяч. Я сказал уже выше, что этот Версилов прожил в свою жизнь три наследства, и вот его опять выручало наследство! Дело решалось в суде в самый ближайший срок. Я с тем и приехал. Правда, под надежду денег никто не давал, занять негде было, и пока терпели.

Но Версилов и не ходил ни к кому, хотя иногда уходил на весь день. Уже с лишком год назад, как он *выгнан* из общества. История эта, несмотря на все старания мои, оставалась для меня в главнейшем невыясненной, несмотря на целый месяц жизни моей в Петербурге. Виновен или не виновен Версилов — вот что для меня было важно, вот для чего я приехал! Отвернулись от него все, между прочим и все влиятельные знатные люди, с которыми он особенно умел во всю жизнь поддерживать связи, вследствие слухов об одном чрезвычайно низком и — что хуже всего в глазах «света» — скандальном поступке, будто бы совершенном им с лишком год назад в Германии, и даже о пощечине, полученной тогда же слишком гласно, именно от одного из князей Сокольских, и на которую он не ответил вызовом. Даже дети его (законные), сын и дочь, от него отвернулись и жили отдельно. Правда, и сын и дочь витали в самом высшем кругу, чрез Фанариотовых и старого князя Сокольского (бывшего друга Версилова). Впрочем, приглядываясь к нему во весь этот месяц, я видел высокомерного человека, которого не общество исключило из своего круга, а который скорее сам прогнал общество от себя, — до того он смотрел независимо. Но имел ли он право смотреть таким образом — вот что меня волновало! Я непременно должен узнать всю правду в самый ближайший срок, ибо приехал судить этого человека. Свои силы я еще таил от него, но мне надо было или признать его, или оттолкнуть от себя вовсе. А последнее мне было бы слишком тяжело, и я мучился. Сделаю наконец полное признание: этот человек был мне дорог!

А пока я жил с ними на одной квартире, работал и едва удерживался от грубостей. Даже и не удерживался. Прожив уже месяц, я с каждым днем убеждался, что за окончательными разъяснениями ни за что не мог обратиться к нему. Гордый человек прямо стал передо мной загадкой, оскорбившей меня

до глубины. Он был со мною даже мил и шутил, но я скорее хотел ссоры, чем таких шуток. Все разговоры мои с ним носили всегда какую-то в себе двусмысленность, то есть попросту какую-то странную насмешку с его стороны. Он с самого начала встретил меня из Москвы несерьезно. Я никак не мог понять, для чего он это сделал. Правда, он достиг того, что остался передо мною непроницаем; но сам я не унился бы до просьб о серьезности со мной с его стороны. К тому же у него были какие-то удивительные и неотразимые приемы, с которыми я не знал что делать. Короче, со мной он обращался как с самым зеленым подростком, чего я почти не мог перенести, хотя и знал, что так будет. Вследствие того я сам перестал говорить серьезно и ждал; даже почти совсем перестал говорить. Ждал я одного лица, с приездом которого в Петербург мог окончательно узнать истину; в этом была моя последняя надежда. Во всяком случае приготовился порвать окончательно и уже принял все меры. Мать мне жаль было, но... «или он, или я» — вот что я хотел предложить ей и сестре моей. Даже день у меня был назначен; а пока я ходил на службу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

В это девятнадцатое число я должен был тоже получить мое первое жалованье за первый месяц моей петербургской службы на моем «частном» месте. Об месте этом они меня и не спрашивали, а просто отдали меня на него, кажется, в самый первый день, как я приехал. Это было очень грубо, и я почти обязан был протестовать. Это место оказалось в доме у старого князя Сокольского. Но протестовать тогда же — значило бы порвать с ними сразу, что хоть вовсе не пугало меня, но вредило моим существенным целям, а потому я принял место покамест молча, молчаньем защитив мое достоинство. Поясню с самого начала, что этот князь Сокольский, богат и тайный советник, нисколько не состоял в родстве с теми московскими князьями Сокольскими (ничтожными бедняками уже несколько поколений сряду), с которыми Версильов вел свою тяжбу. Они были только однофамильцы. Тем не менее старый князь очень ими интересовался и особенно любил одного из этих князей, так сказать их старшего в роде — одного молодого

го офицера. Версиров еще недавно имел огромное влияние на дела этого старика и был его другом, странным другом, потому что этот бедный князь, как я заметил, ужасно боялся его, не только в то время, как я поступил, но, кажется, и всегда во всю дружбу. Впрочем, они уже давно не видались; бесчестный поступок, в котором обвиняли Версирова, касался именно семейства князя; но подвернулась Татьяна Павловна, и чрез ее-то посредство я и помещен был к старику, который желал «молодого человека» к себе в кабинет. При этом оказалось, что ему ужасно желалось тоже сделать угодное Версирову, так сказать первый шаг к нему, а Версиров *позволил*. Распорядился же старый князь в отсутствие своей дочери, вдовы-генеральши, которая наверно бы ему не позволила этого шагу. Об этом после, но замечу, что эта-то странность отношений к Версирову и поразила меня в его пользу. Представлялось соображению, что если глава оскорбленной семьи всё еще продолжает питать уважение к Версирову, то, стало быть, нелепы или по крайней мере двусмысленны и распушенные толки о подлости Версирова. Отчасти это-то обстоятельство и заставило меня не протестовать при поступлении: поступая, я именно надеялся всё это проверить.

Эта Татьяна Павловна играла странную роль в то время, как я застал ее в Петербурге. Я почти забыл о ней вовсе и уж никак не ожидал, что она с таким значением. Она прежде встречалась мне раза три-четыре в моей московской жизни и являлась бог знает откуда, по чьему-то поручению, всякий раз когда надо было меня где-нибудь устроить, — при поступлении ли в пансионистку Тушара или потом, через два с половиной года, при переводе меня в гимназию и помещении в квартире незабвенного Николая Семеновича. Появившись, она проводила со мною весь тот день, ревизовала мое белье, платье, разъезжала со мной на Кузнецкий и в город, покупала мне необходимые вещи, устраивала, одним словом, всё мое приданое до последнего сундучка и перочинного ножика; при этом всё время шипела на меня, бранила меня, корила меня, экзаменовала меня, представляла мне в пример других фантастических каких-то мальчиков, ее знакомых и родственников, которые будто бы все были лучше меня, и, право, даже щипала меня, а толкала положительно, даже несколько раз, и больно. Устроив меня и водворив на месте, она исчезала на несколько лет бесследно. Вот она-то, тотчас по моем приезде, и появилась опять водво-

рять меня. Это была сухенькая, маленькая фигурка, с птичьим востреньким носиком и птичьими острыми глазками. Версигу она служила, как раба, и преклонялась перед ним, как перед папой, но по убеждению. Но скоро я с удивлением заметил, что ее решительно все и везде уважали, и главное — решительно везде и все знали. Старый князь Сокольский относился к ней с необыкновенным почтением; в его семействе тоже; эти гордые дети Версигова тоже; у Фанариотовых тоже, — а между тем она жила шитьем, промыванием каких-то кружев, брала из магазина работу. Мы с нею с первого слова поссорились, потому что она тотчас же вздумала, как прежде, шесть лет тому, шипеть на меня; с тех пор продолжали ссориться каждый день; но это не мешало нам иногда разговаривать, и, признаюсь, к концу месяца она мне начала нравиться; я думаю, за независимость характера. Впрочем, я ее об этом не уведомлял.

Я сейчас же понял, что меня определили на место к этому больному старику затем только, чтоб его «тешить», и что в этом и вся служба. Естественно, это меня унизило, и я тотчас же принял было меры; но вскоре этот старый чудак произвел во мне какое-то неожиданное впечатление, вроде как бы жалости, и к концу месяца я как-то странно к нему привязался, по крайней мере оставил намерение грубить. Ему, впрочем, было не более шестидесяти. Тут вышла целая история. Года полтора назад с ним вдруг случился припадок; он куда-то поехал и в дороге помешался, так что произошло нечто вроде скандала, о котором в Петербурге поговорили. Как следует в таких случаях, его мигом увезли за границу, но месяцев через пять он вдруг опять появился, и совершенно здоровый, хотя и оставил службу. Версигов уверял серьезно (и заметно горячо), что помешательства с ним вовсе не было, а был лишь какой-то нервный припадок. Эту горячность Версигова я немедленно отметил. Впрочем, замечу, что и сам я почти разделял его мнение. Старик казался только разве уж чересчур иногда легкомысленным, как-то не по летам, чего прежде совсем, говорят, не было. Говорили, что прежде он давал какие-то где-то советы и однажды как-то слишком уж отличился в одном возложенном на него поручении. Зная его целый месяц, я никак бы не предположил его особенной силы быть советником. Замечали за ним (хоть я и не заметил), что после припадка в нем развилась какая-то особенная склонность поскорее жениться и что будто бы он уже не раз приступал к этой идее в эти полтора

года. Об этом будто бы знали в свете и, кому следует, интересовались. Но так как это поползновение слишком не соответствовало интересам некоторых лиц, окружавших князя, то старика сторожили со всех сторон. Свое семейство у него было малое; он был вдовцом уже двадцать лет и имел лишь единственную дочь, ту вдову-генеральшу, которую теперь ждали из Москвы ежедневно, молодую особу, характера которой он несомненно боялся. Но у него была бездна разных отдаленных родственников, преимущественно по покойной его жене, которые все были чуть не нищие; кроме того, множество разных его питомцев и им облагодетельствованных питомиц, которые все ожидали частички в его завещании, а потому все и помогали генеральше в надзоре за стариком. У него была, сверх того, одна странность, с самого молодую, не знаю только, смешная или нет: выдавать замуж бедных девиц. Он их выдавал уже лет двадцать пять сряду — или отдаленных родственниц, или падчериц каких-нибудь двоюродных братьев своей жены, или крестниц, даже выдал дочку своего швейцара. Он сначала брал их к себе в дом еще маленькими девочками, растил их с гувернантками и француженками, потом обучал в лучших учебных заведениях и под конец выдавал с приданым. Всё это около него теснилось постоянно. Питомицы, естественно, в замужестве нарождали еще девочек, все народившиеся девочки тоже норовили в питомицы, везде он должен был крестить, все это являлось поздравлять с именинами, и всё это ему было чрезвычайно приятно.

Поступив к нему, я тотчас заметил, что в уме старика гнездились одно тяжелое убеждение — и этого никак нельзя было не заметить, — что все-де как-то странно стали смотреть на него в свете, что все будто стали относиться к нему не так, как прежде, к здоровому; это впечатление не покидало его даже в самых веселых светских собраниях. Старик стал мнителен, стал замечать что-то у всех по глазам. Мысль, что его всё еще подозревают помешанным, видимо его мучила; даже ко мне он иногда приглаждался с недоверчивостью. И если бы он узнал, что кто-нибудь распространяет или утверждает о нем этот слух, то, кажется, этот незлобивейший человек стал бы ему вечным врагом. Вот это-то обстоятельство я и прошу заметить. Прибавлю, что это и решило с первого дня, что я не грубил ему; даже рад был, если приводилось его иногда развеселить или развлечь; не думаю, чтоб признание это могло положить тень на мое достоинство.

Большая часть его денег находилась в обороте. Он, уже после болезни, вошел участником в одну большую акционерную компанию, впрочем очень солидную. И хоть дела вели другие, но он тоже очень интересовался, посещал собрания акционеров, выбран был в члены-учредители, заседал в советах, говорил длинные речи, опровергал, шумел, и, очевидно, с удовольствием. Говорить речи ему очень понравилось: по крайней мере все могли видеть его ум. И вообще он ужасно как полюбил даже в самой интимной частной жизни вставлять в свой разговор особенно глубокомысленные вещи или бонмо; я это слишком понимаю. В доме, внизу, было устроено вроде домашней конторы, и один чиновник вел дела, счета и книги, а вместе с тем и управлял домом. Этого чиновника, служившего, кроме того, на казенном месте, и одного было бы совершенно достаточно; но, по желанию самого князя, прибавили и меня, будто бы на помощь чиновнику; но я тотчас же был переведен в кабинет и часто, даже для виду, не имел пред собою занятий, ни бумаг, ни книг.

Я пишу теперь, как давно отрезвившийся человек и во многом уже почти как посторонний; но как изобразить мне тогдашнюю грусть мою (которую живо сейчас припомнил), засевшую в сердце, а главное — мое тогдашнее волнение, доходившее до такого смутного и горячего состояния, что я даже не спал по ночам — от нетерпения моего, от загадок, которые я сам себе наставил.

II

Спрашивать денег — прегадка история, даже жалованье, если чувствуешь где-то в складках совести, что их не совсем заслужил. Между тем накануне мать, шепчась с сестрой, тихонько от Версилова («чтобы не огорчить Андрея Петровича»), намеревалась снести в заклад из киота образ, почему-то слишком ей дорогой. Служил я на пятидесяти рублях в месяц, но совсем не знал, как я буду их получать; определяя меня сюда, мне ничего не сказали. Дня три назад, встретившись внизу с чиновником, я осведомился у него: у кого здесь спрашивают жалованье? Тот посмотрел с улыбкой удивившегося человека (он меня не любил):

— А вы получаете жалованье?

Я думал, что вслед за моим ответом он прибавит:

— За что же это-с?

Но он только сухо ответил, что «ничего не знает», и уткнулся в свою разлинованную книгу, в которую с каких-то бумажек вставлял какие-то счета.

Ему, впрочем, небезызвестно было, что я кое-что и делал. Две недели назад я ровно четыре дня просидел над работой, которую он же мне и передал: переписать с черновой, а вышло почти пересочинить. Это была целая орава «мыслей» князя, которые он готовился подать в комитет акционеров. Надо было всё это скомпоновать в целое и подделать слог. Мы целый день потом просидели над этой бумагой с князем, и он очень горячо со мной спорил, однако же остался доволен; не знаю только, подал ли бумагу или нет. О двух-трех письмах, тоже деловых, которые я написал по его просьбе, я и не упоминаю.

Просить жалованья мне и потому было досадно, что я уже положил отказаться от должности, предчувствуя, что принужден буду удалиться и отсюда, по неминуемым обстоятельствам. Проснувшись в то утро и одеваясь у себя наверху в каморке, я почувствовал, что у меня забилося сердце, и хоть я плевался, но, входя в дом князя, я снова почувствовал то же волнение: в это утро должна была прибыть сюда та особа, женщина, от прибытия которой я ждал разъяснения всего, что меня мучило! Это именно была дочь князя, та генеральша Ахмакова, молодая вдова, о которой я уже говорил и которая была в жестокой вражде с Версиловым. Наконец я написал это имя! Ее я, конечно, никогда не видал, да и представить не мог, как буду с ней говорить, и буду ли; но мне представлялось (может быть, и на достаточных основаниях), что с ее приездом рассеется и мрак, окружавший в моих глазах Версилова. Твердым я оставаться не мог: было ужасно досадно, что с первого же шагу я так малодушен и неловок; было ужасно любопытно, а главное, противно, — целых три впечатления. Я помню весь тот день наизусть!

О вероятном прибытии дочери мой князь еще не знал ничего и предполагал ее возвращение из Москвы разве через неделю. Я же узнал накануне совершенно случайно: проговорила при мне моей матери Татьяна Павловна, получившая от генеральши письмо. Они хоть и шептались и говорили отдаленными выражениями, но я догадался. Разумеется, не подслушивал: просто не мог не слушать, когда увидел, что вдруг, при известии о приезде этой женщины, так взволновалась мать. Версилова дома не было.

Старику я не хотел передавать, потому что не мог не заметить во весь этот срок, как он трусит ее приезда. Он даже, дня три тому назад, проговорился, хотя робко и отдаленно, что боится с ее приездом за меня, то есть что за меня ему будет таска. Я, однако, должен прибавить, что в отношениях семейных он все-таки сохранял свою независимость и главенство, особенно в распоряжении деньгами. Я сперва заключил о нем, что он — совсем баба; но потом должен был перезаклучить в том смысле, что если и баба, то все-таки оставалось в нем какое-то иногда упрямство, если не настоящее мужество. Находили минуты, в которые с характером его — по-видимому, трусливым и поддающимся — почти ничего нельзя было сделать. Мне это Версилов объяснил потом подробнее. Упоминая теперь с любопытством, что мы с ним почти никогда и не говорили о генеральше, то есть как бы избегали говорить: избегал особенно я, а он в свою очередь избегал говорить о Версилове, и я прямо догадался, что он не будет мне отвечать, если я задам который-нибудь из щекотливых вопросов, меня так интересовавших.

Если же захотят узнать, об чем мы весь этот месяц с ним проговорили, то отвечу, что, в сущности, обо всем на свете, но всё о странных каких-то вещах. Мне очень нравилось чрезвычайное простодушие, с которым он ко мне относился. Иногда я с чрезвычайным недоумением всматривался в этого человека и задавал себе вопрос: «Где же это он прежде заседал? Да его как раз бы в нашу гимназию, да еще в четвертый класс, — и премилый вышел бы товарищ». Удивлялся я тоже не раз и его лицу: оно было на вид чрезвычайно серьезное (и почти красивое), сухое; густые седые выющиеся волосы, открытые глаза; да и весь он был сухошав, хорошего роста; но лицо его имело какое-то неприятное, почти неприличное свойство вдруг переменяться из необыкновенно серьезного на слишком уж игривое, так что в первый раз видевший никак бы не ожидал этого. Я говорил об этом Версилову, который с любопытством меня выслушал; кажется, он не ожидал, что я в состоянии делать такие замечания, но заметил вскользь, что это явилось у князя уже после болезни и разве в самое только последнее время.

Преимущественно мы говорили о двух отвлеченных предметах — о Боге и бытии его, то есть существует он или нет, и об женщинах. Князь был очень религиозен и чувствителен. В кабинете его висел огромный киот с лампадкой. Но вдруг на него

находило — и он вдруг начинал сомневаться в бытии Божиим и говорил удивительные вещи, явно вызывая меня на ответ. К идее этой я был довольно равнодушен, говоря вообще, но все-таки мы очень увлекались оба и всегда искренно. Вообще все эти разговоры, даже и теперь, вспоминаю с приятностью. Но всего милее ему было поболтать о женщинах, и так как я, по нелюбви моей к разговорам на эту тему, не мог быть хорошим собеседником, то он иногда даже огорчался.

Он как раз заговорил в этом роде, только что я пришел в это утро. Я застал его в настроении игривом, а вчера оставил отчего-то в чрезвычайной грусти. Между тем мне надо было непременно окончить сегодня же об жалованье — до приезда некоторых лиц. Я рассчитывал, что нас сегодня непременно *прервут* (недаром же билось сердце), — и тогда, может, я и не решусь заговорить об деньгах. Но так как о деньгах не заговаривалось, то я, естественно, рассердился на мою глупость и, как теперь помню, в досаде на какой-то слишком уж веселый вопрос его, изложил ему мои взгляды на женщин залпом и с чрезвычайным азартом. А из того вышло, что он еще больше увлекся на мою же шею.

III

— ...Я не люблю женщин за то, что они грубы, за то, что они неловки, за то, что они несамостоятельны, и за то, что носят неприличный костюм! — бессвязно заключил я мою длинную тираду.

— Голубчик, пощади! — вскричал он, ужасно развеселившись, что еще пуще обозлило меня.

Я уступчив и мелочен только в мелочах, но в главном не уступлю никогда. В мелочах же, в каких-нибудь светских приемах, со мной бог знает что можно сделать, и я всегда проклиная в себе эту черту. Из какого-то смердящего добродушия я иногда бывал готов поддакивать даже какому-нибудь светскому фату, единственно обольщенный его вежливостью, или ввязывался в спор с дураком, что всего непростительнее. Всё это от невыдержки и оттого, что вырос в углу. Уходишь злой и клянешься, что завтра это уже не повторится, но завтра опять то же самое. Вот почему меня принимали иногда чуть не за шестнадцатилетнего. Но вместо приобретения выдержки я и теперь предпочитаю закупориться еще больше в угол, хотя

бы в самом мизантропическом виде: «Пусть я неловок, но — прощайте!» Я это говорю серьезно и навсегда. Впрочем, вовсе не по поводу князя это пишу, и даже не по поводу тогдашнего разговора.

— Я вовсе не для веселости вашей говорю, — почти закричал я на него, — я просто высказываю убеждение.

— Но как же это женщины грубы и одеты неприлично? Это ново.

— Грубы. Подите в театр, подите на гулянье. Всякий из мужчин знает правую сторону, сойдутся и разойдутся, он вправо и я вправо. Женщина, то есть дама, — я об дамах говорю — так и прет на вас прямо, даже не замечая вас, точно вы уж так непременно и обязаны отскочить и уступить дорогу. Я готов уступить, как созданию слабейшему, но почему тут право, почему она так уверена, что я это обязан, — вот что оскорбительно! Я всегда плевался встречаясь. И после того кричат, что они принижены, и требуют равенства; какое тут равенство, когда она меня топчет или напихает мне в рот песку!

— Песку!

— Да; потому что они неприлично одеты; это только развратный не заметит. В судах запирают же двери, когда дело идет о неприличностях; зачем же позволяют на улицах, где еще больше людей? Они сзади себе открыто фру-фру подкладывают, чтоб показать, что бельфам; открыто! Я ведь не могу не заметить, и юноша тоже заметит, и ребенок, начинающий мальчик, тоже заметит; это подло. Пусть любуются старые развратники и бегут высуня язык, но есть чистая молодежь, которую надо беречь. Остается плеваться. Идет по бульвару, а сзади пустит шлейф в полтора аршина и пыль метет; каково идти сзади: или беги обгоняй, или отскакивай в сторону, не то и в нос и в рот она вам пять фунтов песку напихает. К тому же это шелк, она его треплет по камню три версты, из одной только моды, а муж пятьсот рублей в сенате в год получает: вот где взятки-то сидят! Я всегда плевался, вслух плевался и бранился.

Хоть я и выписываю этот разговор несколько в юморе и с тогдашнею характерностью, но мысли эти и теперь мои.

— И сходило с рук? — полюбопытствовал князь.

— Я плюну и отойду. Разумеется, почувствует, а виду не покажет, прет величественно, не повернув головы. А побранился я совершенно серьезно всего один раз с какими-то двумя, обе

с хвостами, на бульваре, — разумеется, не скверными словами, а только вслух заметил, что хвост оскорбителен.

— Так и выразился?

— Конечно. Во-первых, она попирает условия общества, а во-вторых, пылит; а бульвар для всех: я иду, другой идет, третий, Федор, Иван, всё равно. Вот это я и высказал. И вообще я не люблю женскую походку, если сзади смотреть; это тоже высказал, но намеком.

— Друг мой, но ведь ты мог попасть в серьезную историю: они могли стащить тебя к мировому?

— Ничего не могли. Не на что было жаловаться: идет человек подле и разговаривает сам с собой. Всякий человек имеет право выражать свое убеждение на воздух. Я говорил отвлеченно, к ним не обращался. Они привязались сами: они стали браниться, они гораздо сквернее бранились, чем я: и молокосос, и без кушанья оставить надо, и нигилист, и городовому отдадут, и что я потому привязался, что они одни и слабые женщины, а был бы с ними мужчина, так я бы сейчас хвост поджал. Я хладнокровно объявил, чтобы они перестали ко мне приставать, а я перейду на другую сторону. А чтобы доказать им, что я не боюсь их мужчин и готов принять вызов, то буду идти за ними в двадцати шагах до самого их дома, затем стану перед домом и буду ждать их мужчин. Так и сделал.

— Неужто?

— Конечно, глупость, но я был разгорячен. Они протащили меня версты три с лишком, по жаре, до институтов, вошли в деревянный одноэтажный дом, — я должен сознаться, весьма приличный, — а в окна видно было в доме много цветов, две канарейки, три шавки и эстампы в рамках. Я простоял среди улицы перед домом с полчаса. Они выглянули раза три украдкой, а потом опустили все шторы. Наконец из калитки вышел какой-то чиновник, пожилой; судя по виду, спал, и его нарочно разбудили; не то что в халате, а так, в чем-то очень домашнем; стал у калитки, заложил руки назад и начал смотреть на меня, я — на него. Потом отведет глаза, потом опять посмотрит и вдруг стал мне улыбаться. Я повернулся и ушел.

— Друг мой, это что-то шиллеровское! Я всегда удивлялся: ты краснощекий, с лица твоего прыщет здоровьем и — такое, можно сказать, отвращение от женщины! Как можно, чтобы женщина не производила в твои лета известного впечатления?

Мне, mon cher¹, еще одиннадцатилетнему, гувернер замечал, что я слишком засматриваюсь в Летнем саду на статуи.

— Вам ужасно хочется, чтоб я сходил к какой-нибудь здешней Жозефине и пришел вам донести. Незачем; я и сам еще тринадцати лет видел женскую наготу, всю; с тех пор и почувствовал омерзение.

— Серьезно? Но, cher enfant², от красивой свежей женщины яблоком пахнет, какое ж тут омерзение!

— У меня был в прежнем пансионике, у Тушара, еще до гимназии, один товарищ, Ламберт. Он всё меня бил, потому что был больше чем тремя годами старше, а я ему служил и сапоги снимал. Когда он ездил на конфирмацию, то к нему приехал аббат Риго поздравить с первым причастием, и оба кинулись в слезах друг другу на шею, и аббат Риго стал его ужасно прижимать к своей груди, с разными жестами. Я тоже плакал и очень завидовал. Когда у него умер отец, он вышел, и я два года его не видал, а через два года встретил на улице. Он сказал, что ко мне придет. Я уже был в гимназии и жил у Николая Семеновича. Он пришел поутру, показал мне пятьсот рублей и велел с собой ехать. Хоть он и бил меня два года назад, а всегда во мне нуждался, не для одних сапог; он все мне пересказывал. Он сказал, что деньги утащил сегодня у матери из шкапулки, подделав ключ, потому что деньги от отца все его, по закону, и что она не смеет не давать, а что вчера к нему приходил аббат Риго увещевать — вошел, стал над ним и стал хныкать, изображать ужас и поднимать руки к небу, «а я вынул нож и сказал, что я его зарежу» (он выговаривал: загхэжу). Мы поехали на Кузнецкий. Дорогой он мне сообщил, что его мать в сношениях с аббатом Риго, и что он это заметил, и что он на все плюет, и что все, что они говорят про причастие, — вздор. Он еще много говорил, а я боялся. На Кузнецком он купил двухствольное ружье, ягдташ, готовых патронов, манежный хлыст и потом еще фунт конфет. Мы поехали за город стрелять и дорогою встретили птицелова с клетками; Ламберт купил у него канарейку. В роще он канарейку выпустил, так как она не может далеко улететь после клетки, и стал стрелять в нее, но не попал. Он в первый раз стрелял в жизни, а ружье давно хотел купить, еще у Тушара, и мы давно уже о ружье

¹ мой милый (фр.).

² дорогое дитя (фр.).

мечтали. Он точно захлебывался. Волосы у него были черные ужасно, лицо белое и румяное, как на маске, нос длинный, с горбом, как у французов, зубы белые, глаза черные. Он привязал канарейку ниткой к сучку и из двух стволов, в упор, на вершок расстояния, дал по ней два залпа, и она разлетелась на сто перушков. Потом мы воротились, заехали в гостиницу, взяли номер, стали есть и пить шампанское; пришла дама... Я, помню, был очень поражен тем, как пышно она была одета, в зеленом шелковом платье. Тут я всё это и увидел... про что вам говорил... Потом, когда мы стали опять пить, он стал ее дразнить и ругать; она сидела без платья; он отнял платье, и когда она стала браниться и просить платье, чтоб одеться, он начал ее изо всей силы хлестать по голым плечам хлыстом. Я встал, схватил его за волосы, и так ловко, что с одного раза бросил на пол. Он схватил вилку и ткнул меня в ляжку. Тут на крик вбежали люди, а я успел убежать. С тех пор мне мерзко вспомнить о наготы; поверьте, была красавица.

По мере как я говорил, у князя изменялось лицо с игривого на очень грустное.

— Mon pauvre enfant!¹ Я всегда был убежден, что в твоём детстве было очень много несчастных дней.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

— Но ты был один, ты сам говорил мне, и хоть бы этот Lambert; ты это так очертил: эта канарейка, эта конфирмация со слезами на груди и потом, через какой-нибудь год, он о своей матери с аббатом... О mon cher, этот детский вопрос в наше время просто страшен: покамест эти золотые головки, с кудрями и с невинностью, в первом детстве, порхают перед тобой и смотрят на тебя, с их светлым смехом и светлыми глазками, — то точно ангелы Божии или прелестные птички; а потом... а потом случается, что лучше бы они и не вырастали совсем!

— Какой вы, князь, расслабленный! И точно у вас у самих дети. Ведь у вас нет детей и никогда не будет.

— Tiens!² — мгновенно изменилось всё лицо его, — как раз Александра Петровна, — третьего дня, хе-хе! — Александра Петровна Синицкая, — ты, кажется, ее должен был здесь встретить недели три тому, — представь, она третьего дня вдруг

¹ Мое бедное дитя! (фр.)

² Кстати! (фр.)

мне, на мое веселое замечание, что если я теперь женюсь, то по крайней мере могу быть спокоен, что не будет детей, — вдруг она мне и даже с этакою злостью: «Напротив, у вас-то и будут, у таких-то, как вы, и бывают *непременно*, с первого даже года пойдут, увидите». Хе-хе! И все почему-то вообразили, что я вдруг женюсь; но хоть и злобно сказано, а согласись — остроумно.

— Остроумно, да обидно.

— Ну, *cher enfant*, не от всякого можно обидеться. Я ценю больше всего в людях остроумие, которое видимо исчезает, а что там Александра Петровна скажет — разве может считаться?

— Как, как вы сказали? — привязался я, — не от всякого можно... именно так! Не всякий стóит, чтобы на него обращать внимание, — превосходное правило! Именно я в нем нуждаюсь. Я это запишу. Вы, князь, говорите иногда премилые вещи.

Он так весь и просиял.

— *N'est-ce pas?*¹ *Cher enfant*, истинное остроумие исчезает, чем дальше, тем пуще. *Eh, mais... C'est moi qui connaît les femmes!*² Поверь, жизнь всякой женщины, что бы она там ни проповедовала, это — вечное искание, кому бы подчиниться... так сказать, жажда подчиниться. И заметь себе — без единого исключения.

— Совершенно верно, великолепно! — вскричал я в восхищении. В другое время мы бы тотчас же пустились в философские размышления на эту тему, на целый час, но вдруг меня как будто что-то укусило, и я весь покраснел. Мне представилось, что я, похвалами его бонмо, подлещаюсь к нему перед деньгами и что он непременно это подумает, когда я начну просить. Я нарочно упоминаю теперь об этом.

— Князь, я вас покорнейше прошу выдать мне сейчас же должные мне вами пятьдесят рублей за этот месяц, — выпалил я залпом и раздражительно до грубости.

Помню (так как я помню всё это утро до мелочи), что между нами произошла тогда прегадкая, по своей реальной правде, сцена. Он меня сперва не понял, долго смотрел и не понимал, про какие это деньги я говорю. Естественно, что он и не воображал, что я получаю жалованье, — да и за что? Правда, он

¹ Не правда ли? (*фр.*)

² А между тем... Я-то знаю женщин! (*фр.*)

стал уверять потом, что забыл, и, когда догадался, мигом стал вынимать пятьдесят рублей, но заторопился и даже покраснелся. Видя, в чем дело, я встал и резко заявил, что не могу теперь принять деньги, что мне сообщили о жалованье, очевидно, ошибочно или обманом, чтоб я не отказался от места, и что я слишком теперь понимаю, что мне не за что получать, потому что никакой службы не было. Князь испугался и стал уверять, что я ужасно много служил, что я буду еще больше служить и что пятьдесят рублей так ничтожно, что он мне, напротив, еще прибавит, потому что он обязан, и что он сам рядился с Татьяной Павловной, но «непростительно всё позабыл». Я вспыхнул и окончательно объявил, что мне низко получать жалованье за скандальные рассказы о том, как я провожал два хвоста к институтам, что я не потешать его нанялся, а заниматься делом, а когда дела нет, то надо покончить и т.д., и т.д. Я и представить не мог, чтобы можно было так испугаться, как он, после этих слов моих. Разумеется, покончили тем, что я перестал возражать, а он всучил-таки мне пятьдесят рублей: до сих пор вспоминаю с краской в лице, что их принял! На свете всегда подлостью оканчивается, и, что хуже всего, он тогда сумел-таки почти доказать мне, что я заслужил неоспоримо, а я имел глупость поверить, и притом как-то решительно невозможно было не взять.

— *Cher, cher enfant!* — восклицал он, целуя меня и обнимая (признаюсь, я сам было заплакал черт знает с чего, хоть мигом воздержался, и даже теперь, как пишу, у меня краска в лице), — милый друг, ты мне теперь как родной; ты мне в этот месяц стал как кусок моего собственного сердца! В «свете» только «свет» и больше ничего; Катерина Николаевна (дочь его) блестящая женщина, и я горжусь, но она часто, очень-очень, милый мой, часто меня обижает... Ну, а эти девочки (*elles sont charmantes*¹) и их матери, которые приезжают в именины, — так ведь они только свою канву привозят, а сами ничего не умеют сказать. У меня на шестьдесят подушек их канвы накоплено, всё собаки да олени. Я их очень люблю, но с тобой я почти как с родным — и не сыном, а братом, и особенно люблю, когда ты возражаешь; ты литературен, ты читал, ты умеешь восхищаться...

— Я ничего не читал и совсем не литературен. Я читал, что попадется, а последние два года совсем ничего не читал и не буду читать.

¹ они очаровательны (*фр.*).

— Почему не будешь?

— У меня другие цели.

— Cher... жаль, если в конце жизни скажешь себе, как и я: *je sais tout, mais je ne sais rien de bon*¹. Я решительно не знаю, для чего я жил на свете! Но... я тебе столько обязан... и я даже хотел...

Он как-то вдруг оборвал, раскис и задумался. После потрясений (а потрясения с ним могли случаться поминутно, Бог знает с чего) он обыкновенно на некоторое время как бы терял здравость рассудка и переставал управлять собой; впрочем, скоро и поправлялся, так что всё это было не вредно. Мы просидели с минуту. Нижняя губа его, очень полная, совсем отвисла... Всего более удивило меня, что он вдруг упомянул про свою дочь, да еще с такою откровенностью. Конечно, я приписал расстройству.

— Cher enfant, ты ведь не сердишься за то, что я тебе *ты* говорю, не правда ли? — вырвалось у него вдруг.

— Нисколько. Признаюсь, сначала, с первых разов, я был несколько обижен и хотел вам самим сказать *ты*, но увидел, что глупо, потому что не для того же, чтоб унижить меня, вы мне *ты* говорите?

Он уже не слушал и забыл свой вопрос.

— Ну, что *отец*? — поднял он вдруг на меня задумчивый взгляд.

Я так и вздрогнул. Во-первых, он Версилова обозначил моим *отцом*, чего бы он себе никогда со мной не позволил, а во-вторых, заговорил о Версильове, чего никогда не случалось.

— Сидит без денег и хандрит, — ответил я кратко, но сам стораю от любопытства.

— Да, насчет денег. У него сегодня в окружном суде решается их дело, и я жду князя Сережу, с чем-то он придет. Обещался прямо из суда ко мне. Вся их судьба; тут шестьдесят или восемьдесят тысяч. Конечно, я всегда желал добра и Андрею Петровичу (то есть Версильову), и, кажется, он останется победителем, а князя ни при чем. Закон!

— Сегодня в суде? — воскликнул я, пораженный.

Мысль, что Версильов даже и это пренебрег мне сообщить, чрезвычайно поразила меня. «Стало быть, не сказал и матери, может, никому, — представилось мне тотчас же, — вот характер!»

¹ я знаю всё, но не знаю ничего хорошего (*фр.*).

— А разве князь Сокольский в Петербурге? — поразила меня вдруг другая мысль.

— Со вчерашнего дня. Прямо из Берлина, нарочно к этому дню.

Тоже чрезвычайно важное для меня известие. «И он придет сегодня сюда, этот человек, который дал *ему* пощечину!»

— Ну и что ж, — изменилось вдруг всё лицо князя, — проповедует Бога по-прежнему, и, и... пожалуй, опять по девочкам, по неоперившимся девочкам? Хе-хе! Тут и теперь презабавный наклеивается один анекдот... Хе-хе!

— Кто проповедует? Кто по девочкам?

— Андрей Петрович! Веришь ли, он тогда пристал ко всем нам, как лист: что, дескать, едим, об чем мыслим? — то есть почти так. Пугал и очищал: «Если ты религиозен, то как же ты не идешь в монахи?» Почти это и требовал. *Mais quelle idée!*¹ Если и правильно, то не слишком ли строго? Особенно меня любил Страшным судом пугать, меня из всех.

— Ничего этого я не заметил, вот уж месяц с ним живу, — отвечал я, вслушиваясь с нетерпением. Мне ужасно было досадно, что он не оправился и мямлил так бессвязно.

— Это он только не говорит теперь, а поверь, что так. Человек остроумный, бесспорно, и глубокоученный; но правильный ли это ум? Это всё после трех лет его за границей с ним произошло. И, признаюсь, меня очень потряс... и всех потрясал... *Cher enfant, j'aime le bon Dieu...*² Я верую, верую сколько могу, но — я решительно вышел тогда из себя. Положим, что я употребил прием легкомысленный, но я это сделал нарочно, в досаде, — и к тому же сущность моего возражения была так же серьезна, как была и с начала мира: «Если высшее существо, — говорю ему, — есть, и существует *персонально*, а не в виде разлитого там духа какого-то по творению, в виде жидкости, что ли (потому что это еще труднее понять), — то где же он живет?» Друг мой, *c'était bête*,³ без сомнения, но ведь и все возражения на это же сводятся. *Un domicile*⁴ — это важное дело. Ужасно рассердился. Он там в католичество перешел.

— Об этой идее я тоже слышал. Наверно, вздор.

¹ Но что за мысль! (*фр.*)

² Дорогое дитя, я люблю Боженьку (*фр.*).

³ это было глупо (*фр.*).

⁴ Место жительства (*фр.*).

— Уверяю тебя всем, что есть свято. Вглядись в него... Впрочем, ты говоришь, что он изменился. Ну а в то время как он нас всех тогда измучил! Веришь ли, он держал себя так, как будто святой, и его мощи явятся. Он у нас отчета в поведении требовал, клянусь тебе! Мощи! *En voilà une autre!*¹ Ну, пусть там монах или пустынник, — а тут человек ходит во фраке, ну, и там всё... и вдруг его мощи! Странное желание для светского человека и, признаюсь, странный вкус. Я там ничего не говорю: конечно, всё это святыня и всё может случиться... К тому же всё это *de l'inconnu*², но светскому человеку даже и неприлично. Если бы как-нибудь случилось со мной, или там мне предложили, то, клянусь, я бы отклонил. Ну я, вдруг, сегодня обедаю в клубе и вдруг потом — являюсь! Да я насмешу! Всё это я ему тогда же и изложил... Он вериги носил.

Я покраснел от гнева.

— Вы сами видели вериги?

— Я сам не видал, но...

— Так объявляю же вам, что всё это — ложь, сплетение гнусных козней и клевета врагов, то есть одного врага, одного главнейшего и бесчеловечного, потому что у него один только враг и есть — это ваша дочь!

Князь вспыхнул в свою очередь.

— *Mon cher*, я прошу тебя и настаиваю, чтоб отныне никогда впредь при мне не упоминать рядом с этой гнусной историей имя моей дочери.

Я приподнялся. Он был вне себя; подбородок его дрожал.

— *Cette histoire infâme!*³ Я ей не верил, я не хотел никогда верить, но... мне говорят: верь, верь, я...

Тут вдруг вошел лакей и возвестил визит; я опустился опять на мой стул.

IV

Вошли две дамы, обе девицы, одна — падчерица одного двоюродного брата покойной жены князя, или что-то в этом роде, воспитанница его, которой он уже выделил приданое и которая (замечу для будущего) и сама была с деньгами; вто-

¹ Вот еще идея! (*фр.*)

² из области неведомого (*фр.*).

³ Эта мерзкая история!.. (*фр.*)

рая — Анна Андреевна Версилова, дочь Версилова, старше меня тремя годами, жившая с своим братом у Фанариотовой и которую я видел до этого времени всего только раз в моей жизни, мельком на улице, хотя с братом ее, тоже мельком, уже имел в Москве стычку (очень может быть, и упомяну об этой стычке впоследствии, если место будет, потому что в сущности не стоит). Эта Анна Андреевна была с детства своего особенною фавориткой князя (знакомство Версилова с князем началось ужасно давно). Я был так смущен только что происшедшим, что, при входе их, даже не встал, хотя князь встал им навстречу; а потом подумал, что уж стыдно вставать, и остался на месте. Главное, я был сбит тем, что князь так закричал на меня три минуты назад, и всё еще не знал: уходить мне или нет. Но старик мой уже всё забыл совсем, по своему обыкновению, и весь приятно оживился при виде девиц. Он даже, с быстро переменявшейся физиономией и как-то таинственно подмигивая, успел прошептать мне наскоро пред самым их входом:

— Вглядишься в Олимпиаду, гляди пристальнее, пристальнее... потом расскажу...

Я глядел на нее довольно пристально и ничего особенного не находил: не так высокого роста девица, полная и с чрезвычайно румяными щеками. Лицо, впрочем, довольно приятное, из нравящихся материалистам. Может быть, выражение доброты, но со складкой. Особенной интеллекцией не могла блистать, но только в высшем смысле, потому что хитрость была видна по глазам. Лет не более девятнадцати. Одним словом, ничего замечательного. У нас в гимназии сказали бы: подушка. (Если я описываю в такой подробности, то единственно для того, что понадобится в будущем.)

Впрочем, и всё, что описывал до сих пор, по-видимому с такой ненужной подробностью, — всё это ведет в будущее и там понадобится. В своем месте всё отзовется; избежать не уметь; а если скучно, то прошу не читать.

Совсем другая особа была дочь Версилова. Высокая, немного даже худощавая; продолговатое и замечательно бледное лицо, но волосы черные, пышные; глаза темные, большие, взгляд глубокий; малые и алые губы, свежий рот. Первая женщина, которая мне не внушала омерзения походкой; впрочем, она была тонка и сухощава. Выражение лица не совсем доброе, но важное; двадцать два года. Почти ни одной наружной черты

сходства с Версильовым, а между тем, каким-то чудом, необыкновенное сходство с ним в выражении физиономии. Не знаю, хороша ли она собой; тут как на вкус. Обе были одеты очень скромно, так что не стоит описывать. Я ждал, что буду тотчас обижен каким-нибудь взглядом Версильовой или жестом, и приготовился; обидел же меня ее брат в Москве, с первого же нашего столкновения в жизни. Она меня не могла знать в лицо, но, конечно, слышала, что я хожу к князю. Всё, что предполагал или делал князь, во всей этой куче его родных и «ожидающих» тотчас же возбуждало интерес и являлось событием, — тем более его внезапное пристрастие ко мне. Мне положительно было известно, что князь очень интересовался судьбой Анны Андреевны и искал ей жениха. Но для Версильовой было труднее найти жениха, чем тем, которые вышивали по канве.

И вот, против всех ожиданий, Версильова, пожав князю руку и обменявшись с ним какими-то веселыми светскими словечками, необыкновенно любопытно посмотрела на меня и, видя, что я на нее тоже смотрю, вдруг мне с улыбкою поклонилась. Правда, она только что вошла и поклонилась как вошедшая, но улыбка была до того добрая, что, видимо, была преднамеренная. И, помню, я испытал необыкновенно приятное ощущение.

— А это... а это — мой милый и юный друг Аркадий Андреевич Дол... — пролепетал князь, заметив, что она мне поклонилась, а я всё сижу, — и вдруг осекся: может, сконфузился, что меня с ней знакомит (то есть, в сущности, брата с сестрой). Подушка тоже мне поклонилась; но я вдруг преглупо вскипел и вскочил с места: прилив выделанной гордости, совершенно бессмысленной; все от самолюбия.

— Извините, князь, я — не Аркадий Андреевич, а Аркадий Макарович, — резко отрезал я, совсем уж забыв, что нужно бы ответить дамам поклоном. Черт бы взял эту неблагопристойную минуту!

— Mais... tiens!¹ — вскричал было князь, ударив себя пальцем по лбу.

— Где вы учились? — раздался надо мной глупенький и протяжный вопрос прямо подошедшей ко мне подушки.

— В Москве-с, в гимназии.

¹ Ах, да! (фр.)

— А! Я слышала. Что, там хорошо учат?

— Очень хорошо.

Я всё стоял, а говорил точно солдат на рапорте.

Вопросы этой девицы, бесспорно, были ненаходчивы, но, однако ж, она таки нашлась, чем замять мою глупую выходку и облегчить смущение князя, который уж тем временем слушал с веселой улыбкою какое-то веселое нашептыванье ему на ухо Версиловой, — видимо, не обо мне. Но вопрос: зачем же эта девица, совсем мне незнакомая, выискалась заминать мою глупую выходку и всё прочее? Вместе с тем невозможно было и представить себе, что она обращалась ко мне только так: тут было намерение. Смотрела она на меня слишком любопытно, точно ей хотелось, чтоб и я ее тоже очень заметил как можно больше. Всё это я уже после сообразил и — не ошибся.

— Как, разве сегодня? — вскричал вдруг князь, срываясь с места.

— Так вы не знали? — удивилась Версилова. — *Olympe!* князь не знал, что Катерина Николаевна сегодня будет. Мы к ней и ехали, мы думали, она уже с утренним поездом и давно дома. Сейчас только съехали у крыльца: она прямо с дороги и сказала нам пройти к вам, а сама сейчас придет... Да вот и она!

Отворилась боковая дверь и — *та женщина появилась!*

Я уже знал ее лицо по удивительному портрету, висевшему в кабинете князя; я изучал этот портрет весь этот месяц. При ней же я провел в кабинете минуты три и ни на одну секунду не отрывал глаз от ее лица. Но если б я не знал портрета и после этих трех минут спросили меня: «Какая она?» — я бы ничего не ответил, потому что всё у меня заволоклось.

Я только помню из этих трех минут какую-то действительно прекрасную женщину, которую князь целовал и крестил рукой и которая вдруг быстро стала глядеть — так-таки прямо только что вошла — на меня. Я ясно расслышал, как князь, очевидно показав на меня, пробормотал что-то, с маленьким каким-то смехом, про нового секретаря и произнес мою фамилию. Она как-то вздернула лицо, скверно на меня посмотрела и так нахально улыбнулась, что я вдруг шагнул, подошел к князю и пробормотал, ужасно дрожа, не доканчивая ни одного слова, кажется стуча зубами:

— С тех пор я... мне теперь свои дела... Я иду.

И я повернулся и вышел. Мне никто не сказал ни слова, даже князь; все только глядели. Князь мне передал потом, что я так побледнел, что он «просто струсил».

Да нужды нет!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Именно нужды не было: высшее соображение поглощало все мелочи, и одно могущественное чувство удовлетворяло меня за всё. Я вышел в каком-то восхищении. Ступив на улицу, я готов был запеть. Как нарочно, было прелестное утро, солнце, прохожие, шум, движение, радость, толпа. Что, неужели не обидела меня эта женщина? От кого бы перенес я такой взгляд и такую нахальную улыбку без немедленного протеста, хотя бы глупейшего, — это всё равно, — с моей стороны? Заметьте, она уж и ехала с тем, чтоб меня поскорей оскорбить, еще никогда не выдав: в глазах ее я был «подсылный от Версилова», а она была убеждена и тогда, и долго спустя, что Версильов держит в руках всю судьбу ее и имеет средства тотчас же погубить ее, если захочет, посредством одного документа; подозревала по крайней мере это. Тут была дуэль на смерть. И вот — оскорблен я не был! Оскорбление было, но я его не почувствовал! Куда! я даже был рад; приехав ненавидеть, я даже чувствовал, что начинаю любить ее. «Я не знаю, может ли паук ненавидеть ту муху, которую наметил и ловит? Миленькая мушка! Мне кажется, жертву любят; по крайней мере можно любить. Я же вот люблю моего врага: мне, например, ужасно нравится, что она так прекрасна. Мне ужасно нравится, сударыня, что вы так надменны и величественны: были бы вы помирнее, не было бы такого удовольствия. Вы плюнули на меня, а я торжествую; если бы вы в самом деле плюнули мне в лицо настоящим плевком, то, право, я, может быть, не рассердился, потому что вы — моя жертва, *моя*, а не *его*. Как обаятельна эта мысль! Нет, тайное сознание могущества нестерпимо приятнее явного господства. Если б я был стомиллионный богач, я бы, кажется, находил удовольствие именно ходить в самом стареньком платье и чтоб меня принимали за человека самого мизерного, чуть не просящего на бедность, толкали и презирали меня: с меня было бы довольно одного сознания».

Вот как бы я перевел тогдашние мысли и радость мою, и многое из того, что я чувствовал. Прибавлю только, что здесь, в сейчас написанном, вышло легкомысленнее: на деле я был глубже и стыдливее. Может, я и теперь про себя стыдливее, чем в словах и делах моих; дай-то бог!

Может, я очень худо сделал, что сел писать: внутри безмерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас, — всегда глубже, а на словах — смешнее и бесчестнее. Версилов мне сказал, что совсем обратное тому бывает только у скверных людей. Те только лгут, им легко; а я стараюсь писать всю правду: это ужасно трудно!

II

В это девятнадцатое число я сделал еще один «шаг».

В первый раз с приезда у меня очутились в кармане деньги, потому что накопленные в два года мои шестьдесят рублей я отдал матери, о чем и упомянул выше; но уже несколько дней назад я положил, в день получения жалованья, сделать «пробу», о которой давно мечтал. Еще вчера я вырезал из газеты адрес — объявление «судебного пристава при С. — Петербургском мировом съезде» и проч., и проч. о том, что «девятнадцатого сего сентября, в двенадцать часов утра, Казанской части, такого-то участка и т.д., и т.д., в доме № такой-то, будет продаваться движимое имущество г-жи Лебрехт» и что «опись, оценку и продаваемое имущество можно рассмотреть в день продажи» и т.д., и т.д.

Был второй час в начале. Я поспешил по адресу пешком. Вот уже третий год как я не беру извозчиков — такое дал слово (иначе не скопил бы шестидесяти рублей). Я никогда не ходил на аукционы, я еще не *позволял* себе этого; и хоть теперешний «шаг» мой был только *примерный*, но и к этому шагу я положил прибегнуть лишь тогда, когда кончу с гимназией, когда порву со всеми, когда забьюсь в скорлупу и стану совершенно свободен. Правда, я далеко был не в «скорлупе» и далеко еще не был свободен; но ведь и шаг я положил сделать лишь в виде пробы — как только, чтоб посмотреть, почти как бы помечтать, а потом уж не приходить, может, долго, до самого того времени, когда начнется серьезно. Для всех это был только маленький, глупенький аукцион, а для меня — то первое бревно того корабля, на котором Колумб поехал открывать Америку. Вот мои тогдашние чувства.

Прибыв на место, я прошел в углубление двора обозначенного в объявлении дома и вошел в квартиру госпожи Лебрехт. Квартира состояла из прихожей и четырех небольших, невысоких комнат. В первой комнате из прихожей стояла толпа, человек даже до тридцати; из них наполовину торгующихся, а другие, по виду их, были или любопытные, или любители, или подосланные от Лебрехт; были и купцы, и жида, зарившиеся на золотые вещи, и несколько человек из одетых «чисто». Даже физиономии иных из этих господ врезались в моей памяти. В комнате направо, в открытых дверях, как раз между дверцами, вдвинут был стол, так что в ту комнату войти было нельзя: там лежали описанные и продаваемые вещи. Налево была другая комната, но двери в нее были притворены, хотя и отпирались поминутно на маленькую шелку, в которую, видно было, кто-то выглядывал — должно быть, из многочисленного семейства госпожи Лебрехт, которой, естественно, в это время было очень стыдно. За столом между дверями, лицом к публике, сидел на стуле господин судебный пристав, при знаке, и производил распродажу вещей. Я застал уже дело почти в половине; как вошел — протеснился к самому столу. Продавались бронзовые подсвечники. Я стал глядеть.

Я глядел и тотчас же стал думать: что же я могу тут купить? И куда сейчас дену бронзовые подсвечники, и будет ли достигнута цель, и так ли дело делается, и удастся ли мой расчет? И не детский ли был мой расчет? Всё это я думал и ждал. Ощущение было вроде как перед игорным столом в тот момент, когда вы еще не поставили карту, но подошли с тем, что хотите поставить: «захочу поставлю, захочу уйду — моя воля». Сердце тут еще не бьется, но как-то слегка замирает и вздрагивает — ощущение не без приятности. Но нерешимость быстро начинает тяготить вас, и вы как-то слепнете: протягиваете руку, берете карту, но машинально, почти против воли, как будто вашу руку направляет другой; наконец вы решились и ставите — тут уж ощущение совсем иное, огромное. Я не про аукцион пишу, я только про себя пишу; у кого же другого может биться сердце на аукционе?

Были, что горячились, были, что молчали и выжидали, были, что купили и раскаивались. Я даже совсем не сожалел одного господина, который ошибкою, не расслышав, купил мельхиоровый молочник вместо серебряного, вместо двух рублей за пять; даже очень мне весело стало. Пристав варьировал вещи: после подсвечников явились серьги, после серег шитая

сафьянная подушка, за нею шкатулка, — должно быть, для разнообразия или соображаясь с требованиями торгующихся. Я не выстоял и десяти минут, подвинулся было к подушке, потом к шкатулке, но в решительную минуту каждый раз осекался: предметы эти казались мне совсем невозможными. Наконец в руках пристава очутился альбом.

«Домашний альбом, в красном сафьяне, подержанный, с рисунками акварелью и тушью, в футляре из резной слоновой кости, с серебряными застёжками — цена два рубля!»

Я подступил: вещь на вид изящная, но в костяной резьбе, в одном месте, был изъян. Я только один и подошел смотреть, все молчали; конкурентов не было. Я бы мог отстегнуть застёжки и вынуть альбом из футляра, чтоб осмотреть вещь, но правом моим не воспользовался и только махнул дрожащей рукой: «дескать, всё равно».

— Два рубля пять копеек, — сказал я, опять, кажется, стуча зубами.

Осталось за мной. Я тотчас же вынул деньги, заплатил, схватил альбом и ушел в угол комнаты; там вынул его из футляра и лихорадочно, наскоро, стал разглядывать: не считая футляра, это была самая дрянная вещь в мире — альбомчик в размер листа почтовой бумаги малого формата, тоненький, с золотым истершимся обрезом, точь-в-точь такой, как заводились в старину у только что вышедших из института девиц. Тушью и красками нарисованы были храмы на горе, амуры, пруд с плавающими лебедями; были стишки:

Я в путь далекий отправляюсь,
С Москвой надолго расстаюсь,
Надолго с милыми прощаюсь
И в Крым на почтовых несусь.

(Уцелели-таки в моей памяти!) Я решил, что «провалился»: если кому чего не надо, так именно этого.

«Ничего, — решил я, — первую карту непременно проиграют; даже примета хорошая».

Мне решительно было весело.

— Ах, опоздал; у вас? Вы приобрели? — вдруг раздался подле меня голос господина в синем пальто, видного собой и хорошо одетого. Он опоздал.

— Я опоздал. Ах, как жаль! За сколько?

— Два рубля пять копеек.

— Ах, как жаль! а вы бы не уступили?

— Выйдемте, — шепнул я ему, замирая.

Мы вышли на лестницу.

— Я уступлю вам за десять рублей, — сказал я, чувствуя холод в спине.

— Десять рублей! Помилуйте, что вы!

— Как хотите.

Он смотрел на меня во все глаза; я был одет хорошо, совсем не похож был на жида или перекупщика.

— Помилосердуйте, да ведь это — дрянной старый альбом, кому он нужен? Футляр в сущности ведь ничего не стоит, ведь вы же не продадите никому?

— Вы же покупаете.

— Да ведь я по особому случаю, я только вчера узнал: ведь этакий я только один и есть! Помилуйте, что вы!

— Я бы должен был спросить двадцать пять рублей; но так как тут все-таки риск, что вы отступитесь, то я спросил только десять для верности. Не спущу ни копейки.

Я повернулся и пошел.

— Да возьмите четыре рубля, — нагнал он меня уже на дворе, — ну, пять.

Я молчал и шагал.

— Нате, берите! — Он вынул десять рублей, я отдал альбом.

— А согласитесь, что это нечестно! Два рубля и десять — а?

— Почему нечестно? Рынок!

— Какой тут рынок? (Он сердился.)

— Где спрос, там и рынок; не спроси вы, — за сорок копеек не продал бы.

Я хоть не заливался хохотом и был серьезен, но хохотал внутри, — хохотал не то что от восторга, а сам не знаю отчего, немного задыхался.

— Слушайте, — пробормотал я совершенно неудержимо, но дружески и ужасно любя его, — слушайте: когда Джеймс Ротшильд, покойник, парижский, вот что тысячу семьсот миллионов франков оставил (он кивнул головой), еще в молодости, когда случайно узнал, за несколько часов раньше всех, об убийстве герцога Беррийского, то тотчас поскорее дал знать кому следует и одной только этой штукой, в один миг, нажил несколько миллионов, — вот как люди делают!

— Так вы Ротшильд, что ли? — крикнул он мне с негодованием, как дураку.

Я быстро вышел из дому. Один шаг — и семь рублей девяносто пять копеек нашёл! Шаг был бессмысленный, детская игра, я согласен, но он все-таки совпадал с моею мыслью и не мог не взволновать меня чрезвычайно глубоко... Впрочем, нечего чувства описывать. Десятирублевая была в жилетном кармане, я просунул два пальца пощупать — и так и шел не вынимая руки. Отойдя шагов сто по улице, я вынул ее посмотреть, посмотрел и хотел поцеловать. У подъезда дома вдруг прогремела карета; швейцар отворил двери, и из дому вышла садиться в карету дама, пышная, молодая, красивая, богатая, в шелку и бархате, с двухаршинным хвостом. Вдруг хорошенький маленький портфельчик выскочил у ней из руки и упал на землю; она села; лакей нагнулся поднять вещицу, но я быстро подскочил, поднял и вручил даме, приподняв шляпу. (Шляпа — цилиндр, я был одет, как молодой человек, недурно.) Дама сдержанно, но с приятнейшей улыбкой проговорила мне: «Merci, mсье». Карета загремела. Я поцеловал десятирублевую.

III

Мне в этот же день надо было видеть Ефима Зверева, одного из прежних товарищей по гимназии, бросившего гимназию и поступившего в Петербурге в одно специальное высшее училище. Сам он не стоит описания, и, собственно, в дружеских отношениях я с ним не был; но в Петербурге его отыскал; он мог (по разным обстоятельствам, о которых говорить тоже не стоит) тотчас же сообщить мне адрес одного Крафта, чрезвычайно нужного мне человека, только что тот вернется из Вильно. Зверев ждал его именно сегодня или завтра, о чем третьего дня дал мне знать. Идти надо было на Петербургскую сторону, но усталости я не чувствовал.

Зверева (ему тоже было лет девятнадцать) я застал на дворе дома его тетки, у которой он временно проживал. Он только что пообедал и ходил по двору на ходулях; тотчас же сообщил мне, что Крафт приехал еще вчера и остановился на прежней квартире, тут же на Петербургской, и что он сам желает как можно скорее меня видеть, чтобы немедленно сообщить нечто нужное.

— Куда-то едет опять, — прибавил Ефим.

Так как видеть Крафта в настоящих обстоятельствах для меня было капитально важно, то я и попросил Ефима тотчас

же свести меня к нему на квартиру, которая, оказалось, была в двух шагах, где-то в переулке. Но Зверев объявил, что час тому уж его встретил и что он прошел к Дергачеву.

— Да пойдем к Дергачеву, что ты всё отнекиваешься; трусишь?

Действительно, Крафт мог засидеться у Дергачева, и тогда где же мне его ждать? К Дергачеву я не трусил, но идти не хотел, несмотря на то что Ефим тащил меня туда уже третий раз. И при этом «трусишь» всегда произносил с прескверной улыбкой на мой счет. Тут была не трусость, объявляю заранее, а если я боялся, то совсем другого. На этот раз пойти решился; это тоже было в двух шагах. Дорогой я спросил Ефима, всё ли еще он держит намерение бежать в Америку?

— Может, и подожду еще, — ответил он с легким смехом.

Я его не так любил, даже не любил вовсе. Он был очень бел волосами, с полным, слишком белым лицом, даже неприлично белым, до детскости, а ростом даже выше меня, но принять его можно было не иначе как за семнадцатилетнего. Говорить с ним было не о чем.

— Да что ж там? неужто всегда толпа? — справился я для основательности.

— Да чего ты всё трусишь? — опять засмеялся он.

— Убирайся к черту, — рассердился я.

— Вовсе не толпа. Приходят только знакомые, и уж все свои, будь покоен.

— Да черт ли мне за дело, свои или не свои! Я вот разве там свой? Почему они во мне могут быть уверены?

— Я тебя привел, и довольно. О тебе даже слышали. Крафт тоже может о тебе заявить.

— Слушай, будет там Васин?

— Не знаю.

— Если будет, как только войдем, толкни меня и укажи Васина; только что войдем, слышишь?

Об Васине я уже довольно слышал и давно интересовался.

Дергачев жил в маленьком флигеле, на дворе деревянного дома одной купчихи, но зато флигель занимал весь. Всего было чистых три комнаты. Во всех четырех окнах были спущены шторы. Это был техник и имел в Петербурге занятие; я слышал мельком, что ему выходило одно выгодное частное место в губернии и что он уже отправляется.

Только что мы вошли в крошечную прихожую, как слышались голоса; кажется, горячо спорили и кто-то кричал:

«Quae medicamenta non sanant — ferrum sanat, quae ferrum non sanat — ignis sanat!»¹

Я действительно был в некотором беспокойстве. Конечно, я не привык к обществу, даже к какому бы ни было. В гимназии я с товарищами был на ты, но ни с кем почти не был товарищем, я сделал себе угол и жил в углу. Но не это смущало меня. На всякий случай я дал себе слово не входить в споры и говорить только самое необходимое, так чтоб никто не мог обо мне ничего заключить; главное — не спорить.

В комнате, даже слишком небольшой, было человек семь, а с дамами человек десять. Дергачеву было двадцать пять лет, и он был женат. У жены была сестра и еще родственница; они тоже жили у Дергачева. Комната была меблирована кое-как, впрочем достаточно, и даже было чисто. На стене висел литографированный портрет, но очень дешевый, а в углу образ без ризы, но с горевшей лампадкой. Дергачев подошел ко мне, пожал руку и попросил садиться.

— Садитесь, здесь все свои.

— Сделайте одолжение, — прибавила тотчас же довольно миловидная молоденькая женщина, очень скромно одетая, и, слегка поклонившись мне, тотчас же вышла. Это была жена его, и, кажется, по виду она тоже спорила, а ушла теперь кормить ребенка. Но в комнате оставались еще две дамы — одна очень небольшого роста, лет двадцати, в черном платье и тоже не из дурных, а другая лет тридцати, сухая и востроглазая. Они сидели, очень слушали, но в разговор не вступали.

Что же касается до мужчин, то все были на ногах, а сидели только, кроме меня, Крафт и Васин; их указал мне тотчас же Ефим, потому что я и Крафта видел теперь в первый раз в жизни. Я встал с места и подошел с ним познакомиться. Крафтово лицо я никогда не забуду: никакой особенной красоты, но что-то как бы уж слишком незлобное и деликатное, хотя собственное достоинство так и выставлялось во всем. Двадцати шести лет, довольно сухощав, росту выше среднего, белокур, лицо серьезное, но мягкое; что-то во всем нем было такое тихое. А между тем спросите, — я бы не променял моего, может быть, даже очень пошлого лица, на его лицо, которое казалось мне так привлекательным. Что-то было такое в его лице, чего

¹ «Чего не исцеляют лекарства — исцеляет железо, чего не исцеляет железо — исцеляет огонь!» (лат.)

бы я не захотел в свое, что-то такое слишком уж спокойное в нравственном смысле, что-то вроде какой-то тайной, себе неведомой гордости. Впрочем, так буквально судить я тогда, вероятно, не мог; это мне теперь кажется, что я тогда так судил, то есть уже после события.

— Очень рад, что вы пришли, — сказал Крафт. — У меня есть одно письмо, до вас относящееся. Мы здесь посидим, а потом пойдем ко мне.

Дергачев был среднего роста, широкоплеч, сильный брюнет с большой бородой; во взгляде его видна была сметливость и во всем сдержанность, некоторая непрерывная осторожность; хоть он больше молчал, но очевидно управлял разговором. Физиономия Васина не очень поразила меня, хоть я слышал о нем как о чрезмерно умном: белокурый, с светло-серыми большими глазами, лицо очень открытое, но в то же время в нем что-то было как бы излишне твердое; предчувствовалось мало общительности, но взгляд решительно умный, умнее дергачевского, глубже, — умнее всех в комнате; впрочем, может быть, я теперь всё преувеличиваю. Из остальных я припоминаю всего только два лица из всей этой молодежи: одного высокого смуглого человека, с черными бакенами, много говорившего, лет двадцати семи, какого-то учителя или вроде того, и еще молодого парня моих лет, в русской поддевке, — лицо со складкой, молчаливое, из прислушивающихся. Он и оказался потом из крестьян.

— Нет, это не так надо ставить, — начал, очевидно возобновляя давешний спор, учитель с черными бакенами, горячившийся больше всех, — про математические доказательства я ничего не говорю, но это идея, которой я готов верить и без математических доказательств...

— Подожди, Тихомиров, — громко перебил Дергачев, — вошедшие не понимают. Это, видите ли, — вдруг обратился он ко мне одному (и признаюсь, если он имел намерение обэкзаменовывать во мне новичка или заставить меня говорить, то прием был очень ловкий с его стороны; я тотчас это почувствовал и приготовился), — это, видите ли, вот господин Крафт, довольно уже нам всем известный и характером и солидностью убеждений. Он, вследствие весьма обыкновенного факта, пришел к весьма необыкновенному заключению, которым всех удивил. Он вывел, что русский народ есть народ второстепенный...

— Третьестепенный, — крикнул кто-то.

— ... второстепенный, которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества. Ввиду этого, может быть и справедливого, своего вывода господин Крафт пришел к заключению, что всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована, так сказать, у всех должны опуститься руки и...

— Позволь, Дергачев, это не так надо ставить, — опять подхватил с нетерпением Тихомиров (Дергачев тотчас же уступил). — Ввиду того, что Крафт сделал серьезные изучения, вывел выводы на основании физиологии, которые признает математическими, и убил, может быть, года два на свою идею (которую я бы принял преспокойно а priori), ввиду этого, то есть ввиду тревог и серьезности Крафта, это дело представляется в виде феномена. Из всего выходит вопрос, который Крафт понимать не может, и вот этим и надо заняться, то есть непониманием Крафта, потому что это феномен. Надо разрешить, принадлежит ли этот феномен клинике, как единичный случай, или есть свойство, которое может нормально повторяться в других; это интересно в видах уже общего дела. Про Россию я Крафту поверю и даже скажу, что, пожалуй, и рад; если б эта идея была всеми усвоена, то развязала бы руки и освободила многих от патриотического предрассудка...

— Я не из патриотизма, — сказал Крафт как бы с какой-то натугой. Все эти дебаты были, кажется, ему неприятны.

— Патриотизм или нет, это можно оставить в стороне, — промолвил Васин, очень молчавший.

— Но чем, скажите, вывод Крафта мог бы ослабить стремление к общечеловеческому делу? — кричал учитель (он один только кричал, все остальные говорили тихо). — Пусть Россия осуждена на второстепенность; но можно работать и не для одной России. И, кроме того, как же Крафт может быть патриотом, если он уже перестал в Россию верить?

— К тому же немец, — послышался опять голос.

— Я — русский, — сказал Крафт.

— Это — вопрос, не относящийся прямо к делу, — заметил Дергачев перебившему.

— Выйдите из узкости вашей идеи, — не слушал ничего Тихомиров. — Если Россия только материал для более благородных племен, то почему же ей и не послужить таким ма-

териалом? Это — роль довольно еще благовидная. Почему не успокоиться на этой идее ввиду расширения задачи? Человечество накануне своего перерождения, которое уже началось. Предстоящую задачу отрицают только слепые. Оставьте Россию, если вы в ней разуверились, и работайте для будущего, — для будущего еще неизвестного народа, но который составит из всего человечества, без разбора племен. И без того Россия умерла бы когда-нибудь; народы, даже самые даровитые, живут всего по полторы, много по две тысячи лет; не всё ли тут равно: две тысячи или двести лет? Римляне не прожили и полутора тысяч лет в живом виде и обратились тоже в материал. Их давно нет, но они оставили идею, и она вошла элементом дальнейшего в судьбы человечества. Как же можно сказать человеку, что нечего делать? Я представить не могу положения, чтоб когда-нибудь было нечего делать! Делайте для человечества и об остальном не заботьтесь. Дела так много, что недостатнет жизни, если внимательно оглянуться.

— Надо жить по закону природы и правды, — проговорила из-за двери госпожа Дергачева. Дверь была капельку приотворена, и видно было, что она стояла, держа ребенка у груди, с прикрытой грудью, и горячо прислушивалась.

Крафт слушал, слегка улыбаясь, и произнес наконец, как бы с несколько измученным видом, впрочем с сильною искренностью:

— Я не понимаю, как можно, будучи под влиянием какой-нибудь господствующей мысли, которой подчиняются ваш ум и сердце вполне, жить еще чем-нибудь, что вне этой мысли?

— Но если вам доказано логически, математически, что ваш вывод ошибочен, что вся мысль ошибочна, что вы не имеете ни малейшего права исключать себя из всеобщей полезной деятельности из-за того только, что Россия — предназначенная второстепенность; если вам указано, что вместо узкого горизонта вам открывается бесконечность, что вместо узкой идеи патриотизма...

— Э! — тихо махнул рукой Крафт, — я ведь сказал вам, что тут не патриотизм.

— Тут, очевидно, недоумение, — ввязался вдруг Васин. — Ошибка в том, что у Крафта не один логический вывод, а, так сказать, вывод, обратившийся в чувство. Не все натуры одинаковы; у многих логический вывод обращается иногда в силь-

нейшее чувство, которое захватывает всё существо и которое очень трудно изгнать или переделать. Чтоб вылечить такого человека, надо в таком случае изменить самое это чувство, что возможно не иначе как заменив его другим, равносильным. Это всегда трудно, а во многих случаях невозможно.

— Ошибка! — завопил спорщик, — логический вывод уже сам по себе разлагает предрассудки. Разумное убеждение порождает то же чувство. Мысль выходит из чувства и в свою очередь, водворяясь в человеке, формулирует новое!

— Люди очень разнообразны: одни легко переменяют чувства, другие тяжело, — ответил Васин, как бы не желая продолжать спор; но я был в восхищении от его идеи.

— Это именно так, как вы сказали! — обратился я вдруг к нему, разбивая лед и начиная вдруг говорить. — Именно надо вместо чувства вставить другое, чтоб заменить. В Москве, четыре года назад, один генерал... Видите, господа, я его не знал, но... Может быть, он, собственно, и не мог внушать сам по себе уважения... И притом самый факт мог явиться неразумным, но... Впрочем, у него, видите ли, умер ребенок, то есть, в сущности, две девочки, обе одна за другой, в скарлатине... Что ж, он вдруг так был убит, что всё грустил, так грустил, что ходит и на него глядеть нельзя, — и кончил тем, что умер, почти после полгода. Что он от этого умер, то это факт! Чем, стало быть, можно было его воскресить? Ответ: равносильным чувством! Надо было выкопать ему из могилы этих двух девочек и дать их — вот и все, то есть в этом роде. Он и умер. А между тем можно бы было представить ему прекрасные выводы: что жизнь скоростижна, что все смертны, представить из календаря статистику, сколько умирает от скарлатины детей... Он был в отставке...

Я остановился, задыхаясь и оглядываясь кругом.

— Это совсем не то, — проговорил кто-то.

— Приведенный вами факт хоть и неоднороден с данным случаем, но всё же похож и поясняет дело, — обратился ко мне Васин.

IV

Здесь я должен сознаться, почему я пришел в восхищение от аргумента Васина насчет «идеи-чувства», а вместе с тем должен сознаться в адском стыде. Да, я трусил идти к Дергачеву, хотя

и не от той причины, которую предполагал Ефим. Я трусил от того, что еще в Москве их боялся. Я знал, что они (то есть они или другие в этом роде — это всё равно) — диалектики и, пожалуй, разобьют «мою идею». Я твердо был уверен в себе, что им идею мою не выдам и не скажу; но они (то есть опять-таки они или вроде них) могли мне сами сказать что-нибудь, отчего я бы сам разочаровался в моей идее, даже и не заикаясь им про нее. В «моей идее» были вопросы, мною не разрешенные, но я не хотел, чтоб кто-нибудь разрешал их, кроме меня. В последние два года я даже перестал книги читать, боясь наткнуться на какое-нибудь место не в пользу «идеи», которое могло бы потрясти меня. И вдруг Васин разом разрешает задачу и успокаивает меня в высшем смысле. В самом деле, чего же я боялся и что могли они мне сделать какой бы там ни было диалектикой? Я, может быть, один там и понял, что такое Васин говорил про «идею-чувство»! Мало опровергнуть прекрасную идею, надо заменить ее равносильным прекрасным; не то я, не желая ни за что расставаться с моим чувством, опровергну в моем сердце опровержение, хотя бы насильно, что бы там они ни сказали. А что они могли дать мне взамен? И потому я бы мог быть храбрее, я был обязан быть мужественнее. Придя в восхищение от Васина, я почувствовал стыд, а себя — недостойным ребенком!

Тут и еще вышел стыд. Не гаденькое чувство похвалиться моим умом заставило меня у них разбить лед и заговорить, но и желание «прыгнуть на шею». Это желание прыгнуть на шею, чтоб признали меня за хорошего и начали меня обнимать или вроде того (словом, свинство), я считаю в себе самым мерзким из всех моих стыдов и подозревал его в себе еще очень давно, и именно от угла, в котором продержал себя столько лет, хотя не раскаиваюсь. Я знал, что мне надо держать себя в людях мрачнее. Меня утешало, после всякого такого позора, лишь то, что все-таки «идея» при мне, в прежней тайне, и что я ее им не выдал. С замиранием представлял я себе иногда, что когда выскажу кому-нибудь мою идею, то тогда у меня вдруг ничего не останется, так что я стану похож на всех, а может быть, и идею брошу; а потому берег и хранил ее и трепетал болтовни. И вот, у Дергачева, с первого почти столкновения не выдержал: ничего не выдал, конечно, но болтал непозволительно; вышел позор. Воспоминание скверное! Нет, мне нельзя жить с людьми; я и теперь это думаю; на сорок лет вперед говорю. Моя идея — угол.

Только что Васин меня похвалил, мне вдруг нестерпимо захотелось говорить.

— По-моему, всякий имеет право иметь свои чувства... если по убеждению... с тем, чтоб уж никто его не укорял за них, — обратился я к Васину. Хотя я проговорил и бойко, но точно не я, а во рту точно чужой язык шевелился.

— Бу-удто-с? — тотчас же подхватил и протянул с иронией тот самый голос, который перебивал Дергачева и крикнул Крафту, что он немец.

Считая его полным ничтожеством, я обратился к учителю, как будто это он крикнул мне.

— Мое убеждение, что я никого не смею судить, — дрожал я, уже зная, что полечу.

— Зачем же так секретно? — раздался опять голос ничтожества.

— У всякого своя идея, — смотрел я в упор на учителя, который, напротив, молчал и рассматривал меня с улыбкой.

— У вас? — крикнуло ничтожество.

— Долго рассказывать... А отчасти моя идея именно в том, чтоб оставили меня в покое. Пока у меня есть два рубля, я хочу жить один, ни от кого не зависеть (не беспокойтесь, я знаю возражения) и ничего не делать, — даже для того великого будущего человечества, работать на которого приглашали господина Крафта. Личная свобода, то есть моя собственная-с, на первом плане, а дальше знать ничего не хочу.

Ошибка в том, что я рассердился.

— То есть проповедуете спокойствие сытой коровы?

— Пусть. От коровы не оскорбляются. Я никому ничего не должен, я плачу обществу деньги в виде фискальных поборов за то, чтоб меня не обокрали, не прибили и не убили, а больше никто ничего с меня требовать не смеет. Я, может быть, лично и других идей, и захочу служить человечеству, и буду, и, может быть, в десять раз больше буду, чем все проповедники; но только я хочу, чтобы с меня этого никто *не смел требовать*, заставлять меня, как господина Крафта; моя полная свобода, если я даже и пальца не подыму. А бегать да вешаться всем на шею от любви к человечеству да сгорать слезами умиления — это только мода. Да зачем я непременно должен любить моего ближнего или ваше там будущее человечество, которое я

никогда не увижу, которое обо мне знать не будет и которое в свою очередь истлеет без всякого следа и воспоминания (время тут ничего не значит), когда Земля обратится в свою очередь в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней, то есть бессмысленнее чего нельзя себе и представить! Вот ваше учение! Скажите, зачем я непременно должен быть благороден, тем более если все продолжается одну минуту.

— Б-ба! — крикнул голос.

Я выпалил всё это нервно и злобно, порвав все веревки. Я знал, что лечу в яму, но я торопился, боясь возражений. Я слишком чувствовал, что сыплю как сквозь решето, бессвязно и через десять мыслей в одиннадцатую, но я торопился их убедить и перепобедить. Это так было для меня важно! Я три года готовился! Но замечательно, что они вдруг замолчали, ровно ничего не говорили, а все слушали. Я все продолжал обращаться к учителю:

— Именно-с. Один чрезвычайно умный человек говорил, между прочим, что нет ничего труднее, как ответить на вопрос: «Зачем непременно надо быть благородным?» Видите ли-с, есть три рода подлецов на свете: подлецы наивные, то есть убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство, подлецы стыдящиеся, то есть стыдящиеся собственной подлости, но при непременном намерении все-таки ее докончить, и, наконец, просто подлецы, чистокровные подлецы. Позвольте-с: у меня был товарищ, Ламберт, который говорил мне еще шестнадцати лет, что когда он будет богат, то самое большое наслаждение его будет кормить хлебом и мясом собак, когда дети бедных будут умирать с голоду; а когда им топить будет нечем, то он купит целый дровяной двор, сложит в поле и вытопит поле, а бедным ни полена не даст. Вот его чувства! Скажите, что я отвечу этому чистокровному подлецу на вопрос: «Почему он непременно должен быть благородным?» И особенно теперь, в наше время, которое вы так переделали. Потому что хуже того, что теперь, — никогда не бывало. В нашем обществе совсем неясно, господа. Ведь вы бога отрицаете, подвиг отрицаете, какая же косность, глухая, слепая, тупая, может заставить меня действовать так, если мне выгоднее иначе? Вы говорите: «Разумное отношение к человечеству есть тоже моя выгода»; а если я нахожу все эти разумности неразумными, все эти казармы, фаланги? Да черт мне в них, и до будущего,

когда я один только раз на свете живу! Позвольте мне самому знать мою выгоду: оно веселее. Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, если мне за это, по вашему кодексу, — ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига? Нет-с, если так, то я самым пренебрежительным образом буду жить для себя, а там хоть бы все провалились!

— Превосходное желание!

— Впрочем, я всегда готов вместе.

— Еще лучше! (Это всё тот голос.)

Остальные все продолжали молчать, все глядели и меня разглядывали; но мало-помалу с разных концов комнаты началось хихиканье, еще тихое, но все хихикали мне прямо в глаза. Васин и Крафт только не хихикали. С черными бакенами тоже ухмылялся; он в упор смотрел на меня и слушал.

— Господа, — дрожал я весь, — я мою идею вам не скажу ни за что, но я вас, напротив, с вашей же точки спрошу, — не думайте, что с моей, потому что я, может быть, в тысячу раз больше люблю человечество, чем вы все, вместе взятые! Скажите, — и вы уж теперь непременно должны ответить, вы обязаны, потому что смеетесь, — скажите: чем прельстите вы меня, чтоб я шел за вами? Скажите, чем докажете вы мне, что у вас будет лучше? Куда вы денете протест моей личности в вашей казарме? Я давно, господа, желал с вами встретиться! У вас будет казарма, общие квартиры, *stricte nécessaire*¹, атеизм и общие жены без детей — вот ваш финал, ведь я знаю-с. И за всё за это, за ту маленькую часть серединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок и тепло, вы берете взамен всю мою личность! Позвольте-с: у меня там жену уведут; уймете ли вы мою личность, чтоб я не разможил противнику голову? Вы скажете, что я тогда и сам поумнею; но жена-то что скажет о таком разумном муже, если сколько-нибудь себя уважает? Ведь это неестественно-с; постыдитесь!

— А вы по женской части — специалист? — раздался с злорадством голос ничтожества.

Одно мгновение у меня была мысль броситься и начать его тузить кулаками. Это был невысокого роста, рыжеватый и весноватый... да, впрочем, черт бы взял его наружность!

— Успокойтесь, я еще никогда не знал женщины, — отрезал я, в первый раз к нему повертываясь.

¹ строго необходимое (*фр.*).

— Драгоценное сообщение, которое могло бы быть сделано вежливее, ввиду дам!

Но все вдруг густо зашевелились; все стали разбирать шляпы и хотели идти, — конечно, не из-за меня, а им пришло время; но это молчаливое отношение ко мне раздавило меня стыдом. Я тоже вскочил.

— Позвольте, однако, узнать вашу фамилию, вы всё смотрели на меня? — ступил вдруг ко мне учитель с подлейшей улыбкой.

— Долгорукий.

— Князь Долгорукий?

— Нет, просто Долгорукий, сын бывшего крепостного Макара Долгорукого и незаконный сын моего бывшего барина господина Версилова. Не беспокойтесь, господа: я вовсе не для того, чтобы вы сейчас же бросились ко мне за это на шею и чтобы мы все завыли как телята от умиления!

Громкий и самый бесцеремонный залп хохота раздался разом, так что заснувший за дверью ребенок проснулся и запищал. Я трепетал от ярости. Все они жали руку Дергачеву и выходили, не обращая на меня никакого внимания.

— Пойдемте, — толкнул меня Крафт.

Я подошел к Дергачеву, изо всех сил сжал ему руку и потряс ее несколько раз тоже изо всей силы.

— Извините, что вас всё обижал Кудрюмов (это рыжеватый), — сказал мне Дергачев.

Я пошел за Крафтом. Я ничего не стыдился.

VI

Конечно, между мной теперешним и мной тогдашним — бесконечная разница.

Продолжая «ничего не стыдиться», я еще на лесенке нагнал Васина, отстав от Крафта, как от второстепенности, и с самым натуральным видом, точно ничего не случилось, спросил:

— Вы, кажется, изволите знать моего отца, то есть я хочу сказать Версилова?

— Я, собственно, не знаком, — тотчас ответил Васин (и без малейшей той обидной утонченной вежливости, которую берут на себя люди деликатные, говоря с тотчас же осрамившимся), — но я несколько его знаю; встречался и слушал его.

— Коли слушали, так, конечно, знаете, потому что вы — вы! Как вы о нем думаете? Простите за скорый вопрос, но мне

нужно. Именно как *вы* бы думали, собственно *ваше* мнение необходимо.

— Вы с меня много спрашиваете. Мне кажется, этот человек способен задать себе огромные требования и, может быть, их выполнить, — но отчету никому не отдающий.

— Это верно, это очень верно, это — очень гордый человек! Но чистый ли это человек? Послушайте, что вы думаете о его католичестве? Впрочем, я забыл, что вы, может быть, не знаете...

Если б я не был так взволнован, уж разумеется, я бы не стрелял такими вопросами, и так зря, в человека, с которым никогда не говорил, а только о нем слышал. Меня удивляло, что Васин как бы не замечал моего сумасшествия!

— Я слышал что-то и об этом, но не знаю, насколько это могло бы быть верно, — по-прежнему спокойно и ровно ответил он.

— Ничуть! это про него неправду! Неужели вы думаете, что он может верить в Бога?

— Это — очень гордый человек, как вы сейчас сами сказали, а многие из очень гордых людей любят верить в Бога, особенно несколько презирающие людей. У многих сильных людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность — найти кого-нибудь или что-нибудь, перед чем преклониться. Сильному человеку иногда очень трудно переносить свою силу.

— Послушайте, это, должно быть, ужасно верно! — вскричал я опять. — Только я бы желал понять...

— Тут причина ясная: они выбирают Бога, чтоб не преклоняться перед людьми, — разумеется, сами не ведая, как это в них делается: преклониться пред Богом не так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие — вернее сказать, горячо желающие верить; но желания они принимают за самую веру. Из таких особенно часто бывают под конец разочаровывающиеся. Про господина Версилового я думаю, что в нем есть и чрезвычайно искренние черты характера. И вообще он меня заинтересовал.

— Васин! — вскричал я, — вы меня радуете! Я не уму вашему удивляюсь, я удивляюсь тому, как можете вы, человек столь чистый и так безмерно надо мной стоящий, — как можете вы со мной идти и говорить так просто и вежливо, как будто ничего не случилось!

Васин улыбнулся.

— Вы уж слишком меня хвалите, а случилось там только то, что вы слишком любите отвлеченные разговоры. Вы, вероятно, очень долго перед этим молчали.

— Я три года молчал, я три года говорить готовился... Дураком я вам, разумеется, показаться не мог, потому что вы сами чрезвычайно умны, хотя глупее меня вести себя невозможно, но подлецом!

— Подлецом?

— Да, несомненно! Скажите, не презираете вы меня втайне за то, что я сказал, что я незаконнорожденный Версилова... и похвалился, что сын дворового?

— Вы слишком себя мучите. Если находите, что сказали дурно, то стоит только не говорить в другой раз; вам еще пять-десять лет впереди.

— О, я знаю, что мне надо быть очень молчаливым с людьми. Самый подлый из всех развратов — это вешаться на шею; я сейчас это им сказал, и вот я и вам вешаюсь! Но ведь есть разница, есть? Если вы поняли эту разницу, если способны были понять, то я благословлю эту минуту!

Васин опять улыбнулся.

— Приходите ко мне, если захотите, — сказал он. — Я имею теперь работу и занят, но вы сделаете мне удовольствие.

— Я заключил об вас давеча, по физиономии, что вы излишне тверды и несообщительны.

— Это очень может быть верно. Я знал вашу сестру, Лизавету Макаровну, прошлого года, в Луге... Крафт остановился и, кажется, вас ждет; ему поворачивать.

Я крепко пожал руку Васина и добежал до Крафта, который все шел впереди, пока я говорил с Васиным. Мы молча дошли до его квартиры; я не хотел еще и не мог говорить с ним. В характере Крафта одною из сильнейших черт была деликатность.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Крафт прежде где-то служил, а вместе с тем и помогал покойному Андроникову (за вознаграждение от него) в ведении иных частных дел, которыми тот постоянно занимался сверх своей службы. Для меня важно было уже то, что Крафту, вследствие особенной близости его с Андрониковым, могло быть

многое известно из того, что так интересовало меня. Но я знал от Марьи Ивановны, жены Николая Семеновича, у которого я прожил столько лет, когда ходил в гимназию, — и которая была родной племянницей, воспитанницей и любимицей Андроникова, что Крафту даже «поручено» передать мне нечто. Я уже ждал его целый месяц.

Он жил в маленькой квартире, в две комнаты, совершенным особняком, а в настоящую минуту, только что воротившись, был даже и без прислуги. Чемодан был хоть и раскрыт, но не убран, вещи валялись на стульях, а на столе, перед диваном, разложены были: саквояж, дорожная шкатулка, револьвер и проч. Войдя, Крафт был в чрезвычайной задумчивости, как бы забыв обо мне вовсе; он, может быть, и не заметил, что я с ним не разговаривал дорогой. Он тотчас же что-то принялся искать, но, взглянув мимоходом в зеркало, остановился и целую минуту пристально рассматривал свое лицо. Я хоть и заметил эту особенность (а потом слишком всё припомнил), но я был грустен и очень смущен. Я был не в силах сосредоточиться. Одно мгновение мне вдруг захотелось взять и уйти и так оставить все дела навсегда. Да и что такое были все эти дела в сущности? Не одной ли напускной на себя заботой? Я приходил в отчаяние, что трачу мою энергию, может быть, на недостойные пустяки из одной чувствительности, тогда как сам имею перед собой энергическую задачу. А между тем неспособность моя к серьезному делу очевидно обозначалась, ввиду того, что случилось у Дергачева.

— Крафт, вы к ним и еще пойдете? — вдруг спросил я его. Он медленно обернулся ко мне, как бы плохо понимая меня. Я сел на стул.

— Простите их! — сказал вдруг Крафт.

Мне, конечно, показалось, что это насмешка; но, взглянув пристально, я увидел в лице его такое странное и даже удивительное простодушие, что мне даже самому удивительно стало, как это он так серьезно попросил меня их «простить». Он поставил стул и сел подле меня.

— Я сам знаю, что я, может быть, сброд всех самолюбий и больше ничего, — начал я, — но не прошу прощения.

— Да и совсем не у кого, — проговорил он тихо и серьезно. Он все время говорил тихо и очень медленно.

— Пусть я буду виноват перед собой... Я люблю быть виновным перед собой... Крафт, простите, что я у вас вру. Скажите, неужели вы тоже в этом кружке? Я вот об чем хотел спросить.

— Они не глупее других и не умнее; они — помешанные, как все.

— Разве все — помешанные? — повернулся я к нему с невольным любопытством.

— Из людей получше теперь все — помешанные. Сильно кутит одна середина и бездарность... Впрочем, это всё не стоит.

Говоря, он смотрел как-то в воздух, начинал фразы и обрывал их. Особенно поражало какое-то уныние в его голосе.

— Неужели и Васин с ними? В Васине — ум, в Васине — нравственная идея! — вскричал я.

— Нравственных идей теперь совсем нет; вдруг ни одной не оказалось, и, главное, с таким видом, что как будто их никогда и не было.

— Прежде не было?

— Лучше оставим это, — проговорил он с явным утомлением.

Меня тронула его горестная серьезность. Устыдясь своего эгоизма, я стал входить в его тон.

— Нынешнее время, — начал он сам, помолчав минуты две и всё смотря куда-то в воздух, — нынешнее время — это время золотой середины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается; редко кто выжил бы себе идею.

Он опять оборвал и помолчал немного; я слушал.

— Нынче безлесья Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и готовят ее для калмыков. Явись человек с надеждой и посади дерево — все засмеются: «Разве ты до него доживешь?» С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут только бы с них достало...

— Позвольте, Крафт, вы сказали: «Заботятся о том, что будет через тысячу лет». Ну а ваше отчаяние... про участь России... разве это не в том же роде забота?

— Это... это — самый насущный вопрос, который только есть! — раздражительно проговорил он и быстро встал с места.

— Ах да! Я и забыл! — сказал он вдруг совсем не тем голосом, с недоумением смотря на меня, — я вас звал по делу и между тем... Ради бога, извините.

Он точно вдруг опомнился от какого-то сна, почти сконфузился; взял из портфеля, лежавшего на столе, письмо и подал мне.

— Вот что я имею вам передать. Это — документ, имеющий некоторую важность, — начал он со вниманием и с самым деловым видом.

Меня, еще долго спустя, поражала потом, при воспоминании, эта способность его (в такие для него часы!) с таким сердечным вниманием отнестись к чужому делу, так спокойно и твердо рассказать его.

— Это письмо того самого Столбеева, по смерти которого из-за завещания его возникло дело Версилова с князьями Сокольскими. Дело это теперь решается в суде и решится, наверно, в пользу Версилова; за него закон. Между тем в письме этом, частном, писанном два года назад, завещатель сам излагает настоящую свою волю или, вернее, желание, излагает скорее в пользу князей, чем Версилова. По крайней мере те пункты, на которые опираются князья Сокольские, оспаривая завещание, получают сильную поддержку в этом письме. Противники Версилова много бы дали за этот документ, не имеющий, впрочем, решительного юридического значения. Алексей Никанорович (Андроников), занимавшийся делом Версилова, сохранял это письмо у себя и, незадолго до своей смерти, передал его мне с поручением «приберечь» — может быть, боялся за свои бумаги, предчувствуя смерть. Не желаю судить теперь о намерениях Алексея Никаноровича в этом случае и признаюсь, по смерти его я находился в некоторой тягостной нерешимости, что мне делать с этим документом, особенно ввиду близкого решения этого дела в суде. Но Мария Ивановна, которой Алексей Никанорович, кажется, очень многоверял при жизни, вывела меня из затруднения: она написала мне, три недели назад, решительно, чтоб я передал документ именно вам, и что это, *кажется* (ее выражение), совпадало бы и с волей Андроникова. Итак, вот документ, и я очень рад, что могу его наконец передать.

— Послушайте, — сказал я, озадаченный такою неожиданною новостью, — что же я буду теперь с этим письмом делать? Как мне поступить?

— Это уж в вашей воле.

— Невозможно, я ужасно несвободен, согласитесь сами! Версиров так ждал этого наследства... и, знаете, он погибнет без этой помощи — и вдруг существует такой документ!

— Он существует только здесь, в комнате.

— Неужели так? — посмотрел я на него внимательно.

— Если вы в этом случае сами не находите, как поступить, то что же я могу вам присоветовать?

— Но передать князю Сокольскому я тоже не могу: я убью все надежды Версилова и, кроме того, выйду перед ним из-менником... С другой стороны, передав Версилу, я ввергну невинных в нищету, а Версилова все-таки ставлю в безвыходное положение: или отказаться от наследства, или стать вором.

— Вы слишком преувеличиваете значение дела.

— Скажите одно: имеет этот документ характер решительный, окончательный?

— Нет, не имеет. Я небольшой юрист. Адвокат противной стороны, разумеется, знал бы, как этим документом воспользоваться, и извлек бы из него всю пользу; но Алексей Никанорович находил положительно, что это письмо, будучи предъявлено, не имело бы большого юридического значения, так что дело Версилова могло бы быть все-таки выиграно. Скорее же этот документ представляет, так сказать, дело совести...

— Да вот это-то и важнее всего, — перебил я, — именно потому-то Версильов и будет в безвыходном положении.

— Он, однако, может уничтожить документ и тогда, напротив, избавит себя уже от всякой опасности.

— Имеете вы особые основания так полагать о нем, Крафт? Вот что я хочу знать: для того-то я и у вас!

— Я думаю, что всякий на его месте так бы поступил.

— И вы сами так поступили бы?

— Я не получаю наследства и потому про себя не знаю.

— Ну, хорошо, — сказал я, сунув письмо в карман. — Это дело пока теперь кончено. Крафт, послушайте. Марья Ивановна, которая, уверяю вас, многое мне открыла, сказала мне, что вы, и только один вы, могли бы передать истину о случившемся в Эмсе, полтора года назад, у Версилова с Ахмаковыми. Я вас ждал, как солнца, которое все у меня осветит. Вы не знаете моего положения, Крафт. Умоляю вас сказать мне всю правду. Я именно хочу знать, какой *он* человек, а теперь — теперь больше, чем когда-нибудь это надо!

— Я удивляюсь, как Марья Ивановна вам не передала всего сама; она могла обо всем слышать от покойного Андроникова и, разумеется, слышала и знает, может быть, больше меня.

— Андроников сам в этом деле путался, так именно говорит Марья Ивановна. Этого дела, кажется, никто не может распу-

тать. Тут черт ногу переломит! Я же знаю, что вы тогда сами были в Эмсе...

— Я всего не застал, но что знаю, пожалуй, расскажу охотно; только удовлетворю ли вас?

II

Не привожу дословного рассказа, а приведу лишь вкратце сущность.

Полтора года назад Версильов, став через старого князя Сокольского другом дома Ахмаковых (все тогда находились за границей, в Эмсе), произвел сильное впечатление, во-первых, на самого Ахмакова, генерала и еще нестарого человека, но проигравшего всё богатое приданое своей жены, Катерины Николаевны, в три года супружества в карты и от невоздержной жизни уже имевшего удар. Он от него очнулся и поправлялся за границей, а в Эмсе проживал для своей дочери, от первого своего брака. Это была болезненная девушка, лет семнадцати, страдавшая расстройством груди и, говорят, чрезвычайной красоты, а вместе с тем и фантастичности. Приданого у ней не было; надеялись, по обыкновению, на старого князя. Катерина Николаевна была, говорят, доброй мачехой. Но девушка почему-то особенно привязалась к Версильову. Он проповедовал тогда «что-то страстное», по выражению Крафта, какую-то новую жизнь, «был в религиозном настроении высшего смысла» — по странному, а может быть, и насмешливому выражению Андроникова, которое мне было передано. Но замечательно, что его скоро все невзлюбили. Генерал даже боялся его; Крафт совершенно не отрицает слуха, что Версильов успел утвердить в уме больного мужа, что Катерина Николаевна равнодушна к молодому князю Сокольскому (отлучившемуся тогда из Эмса в Париж). Сделал же это не прямо, а, «по обыкновению своему», наветами, наведениями и всякими извилинами, «на что он великий мастер», выразился Крафт. Вообще же скажу, что Крафт считал его, и желал считать, скорее плутом и врожденным интриганом, чем человеком, действительно проникнутым чем-то высшим или хоть оригинальным. Я же знал и помимо Крафта, что Версильов, имев сперва чрезвычайное влияние на Катерину Николаевну, мало-помалу дошел с нею до разрыва. В чем тут состояла вся эта игра, я и от Крафта не мог добиться, но о взаимной ненависти, возникшей между обоими после их

дружбы, все подтверждали. Затем произошло одно странное обстоятельство: болезненная падчерица Катерины Николавны, по-видимому, влюбилась в Версилова, или чем-то в нем поразилась, или воспламенилась его речью, или уж я этого ничего не знаю; но известно, что Версиров одно время все почти дни проводил около этой девушки. Кончилось тем, что девица объявила вдруг отцу, что желает за Версирова замуж. Что это случилось действительно, это все подтверждают — и Крафт, и Андроников, и Марья Ивановна, и даже однажды проговорилась об этом при мне Татьяна Павловна. Утверждали тоже, что Версиров не только сам желал, но даже и настаивал на браке с девушкой и что соглашение этих двух неоднородных существ, старого с малым, было обоюдное. Но отца эта мысль испугала; он, по мере отвращения от Катерины Николавны, которую прежде очень любил, стал чуть не боготворить свою дочь, особенно после удара. Но самой ожесточенной противницей возможности такого брака явилась сама Катерина Николавна. Произошло чрезвычайно много каких-то секретных, чрезвычайно неприятных семейных столкновений, споров, огорчений, одним словом, всяких гадостей. Отец начал наконец подаваться, видя упорство влюбленной и «фанатизированной» Версировым дочери — выражение Крафта. Но Катерина Николавна продолжала восставать с неумолимой ненавистью. И вот здесь-то и начинается путаница, которую никто не понимает. Вот, однако, прямая догадка Крафта на основании данных, но все-таки лишь догадка.

Версиров будто бы успел внушить *по-своему*, тонко и неотразимо, молодой особе, что Катерина Николавна оттого не соглашается, что влюблена в него сама и уже давно мучит его ревностью, преследует его, интригует, объяснилась уже ему, и теперь готова сжечь его за то, что он полюбил другую; одним словом, что-то в этом роде. Сквернее всего тут то, что он будто бы «намекнул» об этом и отцу, мужу «неверной» жены, объясняя, что князь был только развлечением. Разумеется, в семействе начался целый ад. По иным вариантам, Катерина Николавна ужасно любила свою падчерицу и теперь, как оклеветанная перед нею, была в отчаянии, не говоря уже об отношениях к больному мужу. И что же, рядом с этим существует другой вариант, которому, к печали моей, вполне верил и Крафт и которому я и сам верил (обо всем этом я уже слышал). Утверждали (Андроников, говорят, слышал от самой

Катерины Николавны), что, напротив, Версиров, прежде еще, то есть до начала чувств молодой девицы, предлагал свою любовь Катерине Николавне; что та, бывшая его другом, даже экзальтированная им некоторое время, но постоянно ему не верившая и противоречившая, встретила это объяснение Версирова с необычайною ненавистью и ядовито осмеяла его. Выгнала же его формально от себя за то, что тот предложил ей прямо стать его женой ввиду близкого предполагаемого второго удара мужа. Таким образом, Катерина Николавна должна была почувствовать особенную ненависть к Версирову, когда увидела потом, что он так открыто ищет уже руки ее падчерицы. Марья Ивановна, передавая всё это мне в Москве, верила и тому и другому варианту, то есть всему вместе: она именно утверждала, что всё это могло произойти совместно, что это вроде *la haine dans l'amour*¹, оскорбленной любовной гордости с обеих сторон и т.д., и т.д., одним словом, что-то вроде какой-то тончайшей романической путаницы, недостойной всякого серьезного и здравомыслящего человека и, вдобавок, с подлостью. Но Марья Ивановна была и сама напшигована романами с детства и читала их день и ночь, несмотря на прекрасный характер. В результате выставлялась очевидная подлость Версирова, ложь и интрига, что-то черное и гадкое, тем более что кончилось действительно трагически: бедная воспламененная девушка отравилась, говорят, фосфорными спичками; впрочем, я даже и теперь не знаю, верен ли этот последний слух; по крайней мере его всеми силами постарались замять. Девица была больна всего две недели и умерла. Спички остались, таким образом, под сомнением, но Крафт и им твердо верил. Затем умер вскорости и отец девицы, говорят, от горести, которая и вызвала второй удар, однако не раньше как через три месяца. Но после похорон девицы молодой князь Сокольский, возвратившийся из Парижа в Эмс, дал Версирову пощечину публично в саду и тот не ответил вызовом; напротив, на другой же день явился на променаде как ни в чем не бывало. Тут-то все от него и отвернулось, в Петербурге тоже. Версиров хоть и продолжал некоторое знакомство, но совсем в другом кругу. Из светского его знакомства все его обвинили, хотя, впрочем, мало кто знал обо всех подробностях; знали только нечто о романической смерти молодой особы и о пощечине. По возмож-

¹ ненависти в любви (*фр.*).

ности полные сведения имели только два-три лица; более всех знал покойный Андроников, имея уже давно деловые сношения с Ахмаковыми и особенно с Катериной Николавной по одному случаю. Но он хранил все эти секреты даже от семейства своего, а открыл лишь нечто Крафту и Марье Ивановне, да и то вследствие необходимости.

— Главное, тут теперь один документ, — заключил Крафт, — которого чрезвычайно боится госпожа Ахмакова.

И вот что он сообщил и об этом.

Катерина Николавна имела неосторожность, когда старый князь, отец ее, за границей стал уже выздоравливать от своего припадка, написать Андроникову в большом секрете (Катерина Николавна доверяла ему вполне) чрезвычайно компрометирующее письмо. В то время в выздоравливавшем князе действительно, говорят, обнаружилась склонность тратить и чуть не бросать свои деньги на ветер: за границей он стал покупать совершенно ненужные, но ценные вещи, картины, вазы; дарить и жертвовать на бог знает что большими кушами, даже на разные тамошние учреждения; у одного русского светского мота чуть не купил за огромную сумму, заглазно, разоренное и обремененное тяжбами имение; наконец, действительно будто бы начал мечтать о браке. И вот, ввиду всего этого, Катерина Николавна, не отходявшая от отца во время его болезни, и послала Андроникову, как юристу и «старому другу», запрос: «Возможно ли будет, по законам, объявить князя в опеке или вроде неспособного; а если так, то как удобнее это сделать без скандала, чтоб никто не мог обвинить и чтобы пощадить при этом чувства отца и т.д., и т.д.». Андроников, говорят, тогда же вразумил ее и отсоветовал; а впоследствии, когда князь выздоровел совсем, то и нельзя уже было воротиться к этой идее; но письмо у Андроникова осталось. И вот он умирает; Катерина Николавна тотчас вспомнила про письмо: если бы оно обнаружилось в бумагах покойного и попало в руки старого князя, то тот несомненно прогнал бы ее навсегда, лишил наследства и не дал бы ей ни копейки при жизни. Мысль, что родная дочь не верит в его ум и даже хотела объявить его сумасшедшим, обратила бы этого агнца в зверя. Она же, овдовев, осталась, по милости игрока мужа, без всяких средств и на одного только отца и рассчитывала: она вполне надеялась получить от него новое приданое, столь же богатое, как и первое!

Крафт об участии этого письма знал очень мало, но заметил, что Андроников «никогда не рвал нужных бумаг» и, кроме того, был человек хоть и широкого ума, но и «широкой совестью». (Я даже подивился тогда такой чрезвычайной самостоятельности взгляда Крафта, столь любившего и уважавшего Андроникова.) Но Крафт имел все-таки уверенность, что компрометирующий документ будто бы попался в руки Версилова через близость того со вдовой и с дочерьми Андроникова; уже известно было, что они тотчас же и обязательно предоставили Версилу все бумаги, оставшиеся после покойного. Знал он тоже, что и Катерине Николаевне уже известно, что письмо у Версилова и что она этого-то и боится, думая, что Версильов тотчас пойдет с письмом к старому князю; что, возвратясь из-за границы, она уже искала письмо в Петербурге, была у Андрониковых и теперь продолжает искать, так как все-таки у нее оставалась надежда, что письмо, может быть, не у Версилова, и, в заключение, что она и в Москву ездила единственно с этою же целью и умоляла там Марью Ивановну поискать в тех бумагах, которые сохранялись у ней. О существовании Марьи Ивановны и об ее отношениях к покойному Андроникову она провела весьма недавно, уже возвратясь в Петербург.

— Вы думаете, она не нашла у Марьи Ивановны? — спросил я, имея свою мысль.

— Если Марья Ивановна не открыла ничего даже вам, то, может быть, у ней и нет ничего.

— Значит, вы полагаете, что документ у Версилова?

— Вероятнее всего, что да. Впрочем, не знаю, всё может быть, — промолвил он с видимым утомлением.

Я перестал расспрашивать, да и к чему? Всё главное для меня прояснилось, несмотря на всю эту недостойную путаницу; всё, чего я боялся, — подтвердилось.

— Всё это как сон и бред, — сказал я в глубокой грусти и взялся за шляпу.

— Вам очень дорог этот человек? — спросил Крафт с видимым и большим участием, которое я прочел на его лице в ту минуту.

— Я так и предчувствовал, — сказал я, — что от вас все-таки не узнаю вполне. Остается одна надежда на Ахмакову. На нее-то я и надеялся. Может быть, пойду к ней, а может быть, нет.

Крафт посмотрел с некоторым недоумением.

— Прощайте, Крафт! Зачем лезть к людям, которые вас не хотят? Не лучше ли всё порвать, — а?

— А потом куда? — спросил он как-то сурово и смотря в землю.

— К себе, к себе! Все порвать и уйти к себе!

— В Америку?

— В Америку! К себе, к одному себе! Вот в чем вся «моя идея», Крафт! — сказал я восторженно.

Он как-то любопытно посмотрел на меня.

— А у вас есть это место: «к себе»?

— Есть. До свиданья, Крафт; благодарю вас и жалею, что вас утрудил! Я бы, на вашем месте, когда у самого такая Россия в голове, всех бы к черту отправлял: убирайтесь, интригуйте, грызитесь про себя — мне какое дело!

— Посидите еще, — сказал он вдруг, уже проводив меня до входной двери.

Я немного удивился, воротился и опять сел. Крафт сел напротив. Мы обменялись какими-то улыбками, всё это я как теперь вижу. Очень помню, что мне было как-то удивительно на него.

— Мне в вас нравится, Крафт, то, что вы — такой вежливый человек, — сказал я вдруг.

— Да?

— Я потому, что сам редко умею быть вежливым, хоть и хочу уметь... А что ж, может, и лучше, что оскорбляют люди: по крайней мере избавляют от несчастья любить их.

— Какой вы час во дню больше любите? — спросил он, очевидно меня не слушая.

— Час? Не знаю. Я закат не люблю.

— Да? — произнес он с каким-то особенным любопытством, но тотчас опять задумался.

— Вы куда-то опять уезжаете?

— Да... уезжаю.

— Скоро?

— Скоро.

— Неужели, чтоб доехать до Вильно, револьвер нужен? — спросил я вовсе без малейшей задней мысли: и мысли даже не было! Так спросил, потому что мелькнул револьвер, а я тяготился, о чем говорить.

Он обернулся и посмотрел на револьвер пристально.

— Нет, это я так, по привычке.

— Если б у меня был револьвер, я бы прятал его куда-нибудь под замок. Знаете, ей-богу, соблазнительно! Я, может быть, и не верю в эпидемию самоубийств, но если торчит вот это перед глазами — право, есть минуты, что и соблазнит.

— Не говорите об этом, — сказал он и вдруг встал со стула.

— Я не про себя, — прибавил я, тоже вставая, — я не упо-
треблю. Мне хоть три жизни дайте — мне и тех будет мало.

— Живите больше, — как бы вырвалось у него.

Он рассеянно улыбнулся и, странно, прямо пошел в переднюю, точно выводя меня сам, разумеется не замечая, что делает.

— Желаю вам всякой удачи, Крафт, — сказал я, уже выходя на лестницу.

— Это пожалуй, — твердо отвечал он.

— До свиданья!

— И это пожалуй.

Я помню его последний на меня взгляд.

III

Итак, вот человек, по котором столько лет билось мое сердце! И чего я ждал от Крафта, каких это новых сообщений?

Выйдя от Крафта, я сильно захотел есть; наступал уже вечер, а я не обедал. Я вошел тут же на Петербургской, на Большом проспекте, в один мелкий трактир, с тем чтоб истратить копеек двадцать и не более двадцати пяти — более я бы тогда ни за что себе не позволил. Я взял себе супу и, помню, съев его, сел глядеть в окно; в комнате было много народу, пахло пригорелым маслом, трактирными салфетками и табаком. Гадко было. Над головой моей тюкал носом о дно своей клетки безголосый соловей, мрачный и задумчивый. В соседней биллиардной шумели, но я сидел и сильно думал. Закат солнца (почему Крафт удивился, что я не люблю заката?) навел на меня какие-то новые и неожиданные ощущения совсем не к месту. Мне всё мерещился тихий взгляд моей матери, ее милые глаза, которые вот уже весь месяц так робко ко мне приглядывались. В последнее время я дома очень грубил, ей преимущественно; желал грубить Версильову, но, не смея ему, по подлому обычаю моему, мучил ее. Даже совсем запугал: часто она таким умоляющим взглядом смотрела на меня при входе Андрея Петровича, боясь с моей стороны какой-нибудь выходки... Очень странно было то, что

я теперь, в трактире, в первый раз сообразил, что Версилов мне говорит *ты*, а она — *вы*. Удивлялся я тому и прежде, и не в ее пользу, а тут как-то особенно сообразил — и всё странные мысли, одна за другой, текли в голову. Я долго просидел на месте, до самых полных сумерек. Думал и об сестре...

Минута для меня роковая. Во что бы ни стало надо было решиться! Неужели я не способен решиться? Что трудного в том, чтоб порвать, если к тому же и сами не хотят меня? Мать и сестра? Но их-то я ни в каком случае не оставлю — как бы ни обернулось дело.

Это правда, что появление этого человека в жизни моей, то есть на миг, еще в первом детстве, было тем фатальным толчком, с которого началось мое сознание. Не встретиться он мне тогда — мой ум, мой склад мыслей, моя судьба, наверно, были бы иные, несмотря даже на предопределенный мне судьбою характер, которого я бы все-таки не избегнул.

Но ведь оказывается, что этот человек — лишь мечта моя, мечта с детских лет. Это я сам его таким выдумал, а на деле оказался другой, упавший столь ниже моей фантазии. Я приехал к человеку чистому, а не к этому. И к чему я влюбился в него, раз навсегда, в ту маленькую минутку, как увидел его когда-то, бывши ребенком? Это «навсегда» должно исчезнуть. Я когда-нибудь, если место найдется, опишу эту первую встречу нашу: это пустейший анекдот, из которого ровно ничего не выходит. Но у меня вышла целая пирамида. Я начал эту пирамиду еще под детским одеялом, когда, засыпая, мог плакать и мечтать — о чем? — сам не знаю. О том, что меня оставили? О том, что меня мучат? Но мучили меня лишь немножко, всего только два года, в пансионе Тушара, в который он меня тогда сунул и уехал навсегда. Потом меня никто не мучил; даже напротив, я сам гордо смотрел на товарищей. Да и терпеть я не могу этого ноющего по себе сиротства! Ничего нет омерзительнее роли, когда сироты, незаконнорожденные, все эти выброшенные и вообще вся эта дрянь, к которым я нисколько вот-таки не имею жалости, вдруг торжественно воздвигаются перед публикой и начинают жалобно, но наставительно завывать: «Вот, дескать, как поступили с нами!» Я бы сек этих сирот. Никто-то не поймет из этой гнусной казенщины, что в десять раз ему благороднее смолчать, а не выть и не *удостоивать* жаловаться. А коли начал удостаивать, то так тебе, сыну любви, и надо. Вот моя мысль!

Но не то смешно, когда я мечтал прежде «под одеялом», а то, что и приехал сюда для него же, опять-таки для этого выдуманного человека, почти забыв мои главные цели. Я ехал помочь ему сокрушить клевету, раздавить врагов. Тот документ, о котором говорил Крафт, то письмо этой женщины к Андроникову, которого так боится она, которое может сокрушить ее участь и ввергнуть ее в нищету и которое она предполагает у Версилова, — это письмо было не у Версилова, а у меня, зашито в моем боковом кармане! Я сам и зашивал, и никто во всем мире еще не знал об этом. То, что романическая Марья Ивановна, у которой документ находился «на сохранении», нашла нужным передать его мне, и никому иному, то были лишь ее взгляд и ее воля, и объяснять это я не обязан; может быть, когда-нибудь к слову и расскажу; но столь неожиданно вооруженный, я не мог не соблазниться желанием явиться в Петербург. Конечно, я полагал помочь этому человеку не иначе как втайне, не выставляясь и не горячась, не ожидая ни похвал, ни объятий его. И никогда, никогда бы я не *удостоил* попрекнуть его чем-нибудь! Да и вина ли его в том, что я влюбился в него и создал из него фантастический идеал? Да я даже, может быть, вовсе и не любил его! Его оригинальный ум, его любопытный характер, какие-то там его интриги и приключения и то, что была при нем моя мать, — всё это, казалось, уже не могло бы остановить меня; довольно было и того, что моя фантастическая кукла разбита и что я, может быть, уже не могу любить его больше. Итак, что же останавливало меня, на чем я завяз? — вот вопрос. В итоге выходило, что глуп только я, а более никто.

Но, требуя честности от других, буду честен и сам: я должен сознаться, что зашитый в кармане документ возбуждал во мне не одно только страстное желание лететь на помощь Версилкову. Теперь для меня это уж слишком ясно, хоть я и тогда уже краснел от мысли. Мне мерещилась женщина, гордое существо высшего света, с которою я встречусь лицом к лицу; она будет презирать меня, смеяться надо мной, как над мышью, даже и не подозревая, что я властелин судьбы ее. Эта мысль пьянила меня еще в Москве, и особенно в вагоне, когда я сюда ехал; я признался уже в этом выше. Да, я ненавидел эту женщину, но уже любил ее как мою жертву, и всё это правда, всё-было действительно. Но уж это было такое детство, которого я даже и от такого, как я, не ожидал. Я описываю тогдашние мои чувства, то есть то, что мне шло в голову тогда, когда я

сидел в трактире под соловьем и когда порешил в тот же вечер разорвать с ними неминуемо. Мысль о давешней встрече с этой женщиной залила вдруг тогда краской стыда мое лицо. Позорная встреча! Позорное и глупенькое впечатленье — главное — сильнее всего доказавшее мою неспособность к делу! Оно доказывало лишь то, думал я тогда, что я не в силах устоять даже и пред глупейшими приманками, тогда как сам же сказал сейчас Крафту, что у меня есть «свое место», есть свое дело и что если б у меня было три жизни, то и тогда бы мне было их мало. Я гордо сказал это. То, что я бросил мою идею и затянулся в дела Версилова, — это еще можно было бы чем-нибудь извинить; но то, что я бросаюсь, как удивленный заяц, из стороны в сторону и затачиваюсь уже в каждые пустяки, в том, конечно, одна моя глупость. На какой ляд дернуло меня идти к Дергачеву и выскочить с моими глупостями, давно зная за собой, что ничего не сумею рассказать умно и толково и что мне всего выгоднее молчать? И какой-нибудь Васин вразумляет меня тем, что у меня еще «пятьдесят лет жизни впереди и, стало быть, тужить не о чем». Возражение его прекрасно, я согласен, и делает честь его бесспорному уму; прекрасно уже тем, что самое простое, а самое простое понимается всегда лишь под конец, когда уж перепробовано всё, что мудреней или глупей; но я знал это возражение и сам, раньше Васина; эту мысль я прочувствовал с лишком три года назад; даже мало того, в ней-то и заключается отчасти «моя идея». Вот что я думал тогда в трактире.

Гадко мне было, когда, усталый и от ходьбы и от мысли, добрался я вечером, часу уже в восьмом, в Семеновский полк. Совсем уже стемнело, и погода переменялась; было сухо, но подымался скверный петербургский ветер, язвительный и острый, мне в спину, и взвевал кругом пыль и песок. Сколько угрюмых лиц простонародья, торопливо возвращавшегося в углы свои с работы и промыслов! У всякого своя угрюмая забота на лице и ни одной-то, может быть, общей, всеосоединяющей мысли в этой толпе! Крафт прав: все врознь. Мне встретился маленький мальчик, такой маленький, что странно, как он мог в такой час очутиться один на улице; он, кажется, потерял дорогу; одна баба остановилась было на минуту его выслушать, но ничего не поняла, развела руками и пошла дальше, оставив его одного в темноте. Я подошел было, но он с чего-то вдруг меня испугался и побежал дальше. Подхо-

дя к дому, я решил, что я к Васину никогда не пойду. Когда я всходил на лестницу, мне ужасно захотелось застать наших дома одних, без Версилова, чтоб успеть сказать до его прихода что-нибудь доброе матери или милой моей сестре, которой я в целый месяц не сказал почти ни одного особенного слова. Так и случилось, что его не было дома...

IV

А кстати: выводя в «Записках» это «новое лицо» на сцену (то есть я говорю про Версилова), приведу вкратце его формулярный список, ничего, впрочем, не означающий. Я это, чтобы было понятнее читателю и так как не предвижу, куда бы мог приткнуть этот список в дальнейшем течении рассказа.

Он учился в университете, но поступил в гвардию, в кавалерийский полк. Женился на Фанариотовой и вышел в отставку. Ездил за границу и, воротясь, жил в Москве в светских удовольствиях. По смерти жены прибыл в деревню; тут эпизод с моей матерью. Потом долго жил где-то на юге. В войну с Европой поступил опять в военную службу, но в Крым не попал и всё время в деле не был. По окончании войны, выйдя в отставку, ездил за границу, и даже с моею матерью, которую, впрочем, оставил в Кенигсберге. Бедная рассказывала иногда с каким-то ужасом и качая головой, как она прожила тогда целые полгода, одна-одинешенька, с маленькой дочерью, не зная языка, точно в лесу, а под конец и без денег. Тогда приехала за нею Татьяна Павловна и отвезла ее назад, куда-то в Нижегородскую губернию. Потом Версиров вступил в мировые посредники первого призыва и, говорят, прекрасно исполнял свое дело; но вскоре кинул его и в Петербурге стал заниматься ведением разных частных гражданских исков. Андроников всегда высоко ставил его способности, очень уважал его и говорил лишь, что не понимает его характера. Потом Версиров и это бросил и опять уехал за границу, и уже на долгий срок, на несколько лет. Затем начались особенно близкие связи с стариком князем Сокольским. Во всё это время денежные средства его изменялись раза два-три радикально: то совсем впадал в нищету, то опять вдруг богател и подымался.

А впрочем, теперь, доведя мои записки именно до этого пункта, я решаюсь рассказать и «мою идею». Опишу ее в словах, в первый раз с ее зарождения. Я решаюсь, так сказать, открыть

ее читателю, и тоже для ясности дальнейшего изложения. Да и не только читатель, а и сам я, сочинитель, начинаю путаться в трудности объяснять шаги мои, не объяснив, что вело и наталкивало меня на них. Этою «фигурою умолчания» я, от уменья моего, впал опять в те «красоты» романистов, которые сам осмеял выше. Входя в дверь моего петербургского романа со всеми позорными моими в нем приключениями, я нахожу это предисловие необходимым. Но не «красоты» соблазнили меня умолчать до сих пор, а и сущность дела, то есть трудность дела; даже теперь, когда уже прошло всё прошедшее, я ощущаю непреодолимую трудность рассказать эту «мысль». Кроме того, я, без сомнения, должен изложить ее в ее тогдашней форме, то есть как она сложилась и мыслилась у меня тогда, а не теперь, а это уже новая трудность. Рассказывать иные вещи почти невозможно. Именно те идеи, которые всех проще, всех яснее, — именно те-то и трудно понять. Если б Колумб перед открытием Америки стал рассказывать свою идею другим, я убежден, что его бы ужасно долго не поняли. Да и не понимали же. Говоря это, я вовсе не думаю равнять себя с Колумбом, и если кто выведет это, тому будет стыдно и больше ничего.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Моя идея — это статья Ротшильдом. Я приглашаю читателя к спокойствию и к серьезности.

Я повторяю: моя идея — это статья Ротшильдом, статья так же богатым, как Ротшильд; не просто богатым, а именно как Ротшильд. Для чего, зачем, какие я именно преследую цели — об этом будет после. Сперва лишь докажу, что достижение моей цели обеспечено математически.

Дело очень простое, вся тайна в двух словах: *упорство и непрерывность*.

— Слышали, — скажут мне, — не новость. Всякий фатер в Германии повторяет это своим детям, а между тем ваш Ротшильд (то есть покойный Джеймс Ротшильд, парижский, я о нем говорю) был всего только один, а фатеров миллионы.

Я ответил бы:

— Вы уверяете, что слышали, а между тем вы ничего не слышали. Правда, в одном и вы справедливы: если я сказал,

что это дело «очень простое», то забыл прибавить, что и самое трудное. Все религии и все нравственности в мире сводятся на одно: «Надо любить добродетель и убегать пороков». Чего бы, кажется, проще? Ну-тка, сделайте-ка что-нибудь добродетельное и убегите хоть одного из ваших пороков, попробуйте-ка, — а? Так и тут.

Вот почему бесчисленные ваши фатеры в течение бесчисленных веков могут повторять эти удивительные два слова, составляющие весь секрет, а между тем Ротшильд остается один. Значит: то, да не то, и фатеры совсем не ту мысль повторяют.

Про упорство и непрерывность, без сомнения, слышали и они; но для достижения моей цели нужны не фатерское упорство и не фатерская непрерывность.

Уж одно слово, что он фатер, — я не об немцах одних говорю, — что у него семейство, он живет как и все, расходы как и у всех, обязанности как и у всех, — тут Ротшильдом не сделаешься, а станешь только умеренным человеком. Я же слишком ясно понимаю, что, став Ротшильдом или даже только пожелав им стать, но не по-фатерски, а серьезно, — я уже тем самым разом выхожу из общества.

Несколько лет назад я прочел в газетах, что на Волге, на одном из пароходов, умер один нищий, ходивший в отрепье, просивший милостыню, всем там известный. У него, по смерти его, нашли зашитыми в его рубище до трех тысяч кредитными билетами. На днях я опять читал про одного нищего, из благородных, ходившего по трактирам и протягивавшего там руку. Его арестовали и нашли при нем до пяти тысяч рублей. Отсюда прямо два вывода: первый — *упорство* в накоплении, даже копеечными суммами, впоследствии дает громадные результаты (время тут ничего не значит), и второй — что самая нехитрая форма наживания, но лишь *непрерывная*, обеспечена в успехе математически.

Между тем есть, может быть, и очень довольно людей почтенных, умных и воздержных, но у которых (как ни быются они) нет ни трех, ни пяти тысяч и которым, однако, ужасно бы хотелось иметь их. Почему это так? Ответ ясный: потому что ни один из них, несмотря на все их хотенье, все-таки не до такой степени *хочет*, чтобы, например, если уж никак нельзя иначе нажить, то стать даже и нищим; и не до такой степени упорен, чтобы, даже и став нищим, не растратить первых же полученных копеек на лишний кусок себе или своему семей-

ству. Между тем при этом способе накопления, то есть при нищенстве, нужно питаться, чтобы скопить такие деньги, хлебом с солью и более ничем; по крайней мере я так понимаю. Так, наверно, делали и вышеозначенные двое нищих, то есть ели один хлеб, а жили чуть не под открытым небом. Сомнения нет, что намерения стать Ротшильдом у них не было: это были лишь Гарпагоны или Плюшкины в чистейшем их виде, не более; но и при сознательном наживании уже в совершенно другой форме, но с целью стать Ротшильдом, — потребуется не меньше хотения и силы воли, чем у этих двух нищих. Фатер такой силы не окажет. На свете силы многоразличны, силы воли и хотения особенно. Есть температура кипения воды и есть температура красного каления железа.

Тут тот же монастырь, те же подвиги схимничества. Тут чувство, а не идея. Для чего? Зачем? Нравственно ли это и не уродливо ли ходить в дерюге и есть черный хлеб всю жизнь, таская на себе такие деньжища? Эти вопросы потом, а теперь только о возможности достижения цели.

Когда я выдумал «мою идею» (а в красном-то каленье она и состоит), я стал себя пробовать: способен ли я на монастырь и на схимничество? С этою целью я целый первый месяц ел только один хлеб с водой. Черного хлеба выходило не более двух с половиною фунтов ежедневно. Чтобы исполнить это, я должен был обманывать умного Николая Семеновича и желавшую мне добра Марью Ивановну. Я настоял на том, к ее огорчению и к некоторому недоумению деликатнейшего Николая Семеновича, чтобы обед приносили в мою комнату. Там я просто истреблял его: суп выливал в окно в крапиву или в одно другое место, говядину — или кидал в окно собаке, или, завернув в бумагу, клал в карман и выносил потом вон, ну и всё прочее. Так как хлеба к обеду подавали гораздо менее двух с половиною фунтов, то потихоньку хлеб прикупал от себя. Я этот месяц выдержал, может быть только несколько расстроил желудок; но с следующего месяца я прибавил к хлебу суп, а утром и вечером по стакану чаю — и, уверяю вас, так провел год в совершенном здоровье и довольстве, а нравственно — в упоении и в непрерывном тайном восхищении. Я не только не жалел о кушаньях, но был в восторге. По окончании года, убедившись, что я в состоянии выдержать какой угодно пост, я стал есть, как и они, и перешел обедать с ними вместе. Не удовлетворившись этой пробой, я сделал и вторую:

на карманные расходы мои, кроме содержания, уплачиваемого Николаю Семеновичу, мне полагалось ежемесячно по пяти рублей. Я положил из них тратить лишь половину. Это было очень трудное испытание, но через два с лишком года, при приезде в Петербург, у меня в кармане, кроме других денег, было семьдесят рублей, накопленных единственно из этого сбережения. Результат двух этих опытов был для меня громадный: я узнал положительно, что могу настолько хотеть, что достигну моей цели, а в этом, повторяю, вся «моя идея»; дальнейшее — всё пустяки.

II

Однако рассмотрим и пустяки.

Я описал мои два опыта; в Петербурге, как известно уже, я сделал третий — сходил на аукцион и, за один удар, взял семь рублей девяносто пять копеек барыша. Конечно, это был не настоящий опыт, а так лишь — игра, утеха: захотелось выкрасть минутку из будущего и попытаться, как это я буду ходить и действовать. Вообще же настоящий приступ к делу у меня был отложен, еще с самого начала, в Москве, до тех пор пока я буду совершенно свободен; я слишком понимал, что мне надо было хотя бы, например, сперва кончить с гимназией. (Университетом, как уже известно, я пожертвовал.) Бесспорно, я ехал в Петербург с затаенным гневом: только что я сдал гимназию и стал в первый раз свободным, я вдруг увидел, что дела Версилова вновь отвлекут меня от начала дела на неизвестный срок! Но хоть и с гневом, а я все-таки ехал совершенно спокойный за цель мою.

Правда, я не знал практики; но я три года сряду обдумывал и сомнений иметь не мог. Я воображал тысячу раз, как я приступлю: я вдруг очутываюсь, как с неба спущенный, в одной из двух столиц наших (я выбрал для начала наши столицы, и именно Петербург, которому, по некоторому расчету, отдал преимущество); итак, я спущен с неба, но совершенно свободный, ни от кого не завишу, здоров и имею затаенных в кармане сто рублей для первоначального оборотного капитала. Без ста рублей начинать невозможно, так как на слишком уже долгий срок отдалился бы даже самый первый период успеха. Кроме ста рублей у меня, как уже известно, мужество, упорство, непрерывность, полнейшее уединение и тайна. Уединение —

главное: я ужасно не любил до самой последней минуты никаких сношений и ассоциаций с людьми; говоря вообще, начать «идею» я непременно положил один, это *sine qua*¹. Люди мне тяжелы, и я был бы беспокоен духом, а беспокойство вредило бы цели. Да и вообще до сих пор, во всю жизнь, во всех мечтах моих о том, как я буду обращаться с людьми, — у меня всегда выходило очень умно; чуть же на деле — всегда очень глупо. И признаюсь в этом с негодованием и искренно, я всегда выдавал себя сам словами и торопился, а потому и решился сократить людей. В выигрыше — независимость, спокойствие духа, ясность цели.

Несмотря на ужасные петербургские цены, я определил раз навсегда, что более пятнадцати копеек на еду не истрачу, и знал, что слово сдержу. Этот вопрос об еде я обдумывал долго и обстоятельно; я положил, например, иногда по два дня сряду есть один хлеб с солью, но с тем чтобы на третий день истратить сбережения, сделанные в два дня; мне казалось, что это будет выгоднее для здоровья, чем вечный ровный пост на минимуме в пятнадцать копеек. Затем, для житья моего мне нужен был угол, угол буквально, единственно чтобы выпастись ночью или укрыться уже в слишком ненастный день. Жить я положил на улице, и за нужду я готов был ночевать в ночлежных приютах, где, сверх ночлега, дают кусок хлеба и стакан чаю. О, я слишком сумел бы спрятать мои деньги, чтобы их у меня в угле или в приюте не украли; и не подглядели бы даже, ручаюсь! «У меня-то украдут? Да я сам боюсь, у кого б не украсть», — слышал я раз это веселое слово на улице от одного проходимца. Конечно, я к себе из него применяю лишь одну осторожность и хитрость, а воровать не намерен. Мало того, еще в Москве, может быть с самого первого дня «идеи», порешил, что ни закладчиком, ни процентщиком тоже не буду: на это есть жиды да те из русских, у кого ни ума, ни характера. Заклад и процент — дело ординарности.

Что касается до одежды, то я положил иметь два костюма: расхожий и порядочный. Раз заведя, я был уверен, что проношу долго; я два с половиной года нарочно учился носить платье и открыл даже секрет: чтобы платье было всегда ново и не изнашивалось, надо чистить его щеткой сколь возможно чаще, раз по пяти и шести в день. Щетки сукно не боится, говорю

¹ неперменное условие (*фр.*).

достоверно, а боится пыли и сору. Пыль — это те же камни, если посмотреть в микроскоп, а щетка, как ни тверда, всё та же почти шерсть. Равномерно выучился я и сапоги носить: тайна в том, что надо с оглядкой ставить ногу всей подошвой разом, как можно реже сбиваясь набок. Выучиться этому можно в две недели, далее уже пойдет бессознательно. Этим способом сапоги носятся, в среднем выводе, на треть времени дольше. Опыт двух лет.

Затем начиналась уже самая деятельность.

Я шел из такого соображения: у меня сто рублей. В Петербурге же столько аукционов, распродаж, мелких лавочек на Толкучем и нуждающихся людей, что невозможно, купив вещь за столько-то, не продать ее несколько дороже. За альбом я взял семь рублей девяносто пять копеек барыша на два рубля пять копеек затраченного капитала. Этот огромный барыш взят был без риска: я по глазам видел, что покупатель не отступится. Разумеется, я слишком понимаю, что это только случай; но ведь таких-то случаев я и ищу, для того-то и порешил жить на улице. Ну пусть эти случаи даже слишком редки; всё равно, главным правилом будет у меня — не рисковать ничем, и второе — непременно в день хоть сколько-нибудь нажить сверх минимума, истраченного на мое содержание, для того чтобы ни единого дня не прерывалось накопление.

Мне скажут: всё это мечты, вы не знаете улицы, и вас с первого шага надуют. Но я имею волю и характер, а уличная наука есть наука, как и всякая, она дается упорству, вниманию и способностям. В гимназии я до самого седьмого класса был из первых, я был очень хорош в математике. Ну можно ли до такой кумирной степени превозносить опыт и уличную науку, чтобы непременно предсказывать неудачу! Это всегда только те говорят, которые никогда никакого опыта ни в чем не делали, никакой жизни не начинали и прозябали на готовом. «Один расшиб нос, так непременно и другой расшибет его». Нет, не расшибу. У меня характер, и при внимании я всему выучусь. Ну есть ли возможность представить себе, что при непрерывном упорстве, при непрерывной зоркости взгляда и непрерывном обдумывании и расчете, при беспредельной деятельности и беготне, вы не дойдете наконец до знания, как ежедневно нажить лишний двугривенный? Главное, я порешил никогда не бить на максимум барыша, а всегда быть спокойным. Там, дальше, уже нажив тысячу и другую, я бы, конечно, и невольно вышел

из факторства и уличного перекупства. Мне, конечно, слишком мало еще известны биржа, акции, банкирское дело и всё прочее. Но, взамен того, мне известно как пять моих пальцев, что все эти биржи и банкирства я узнаю и изучу в свое время, как никто другой, и что наука эта явится совершенно просто, потому только, что до этого дойдет дело. Ума, что ли, тут так много надо? Что за Соломонова такая премудрость! Был бы только характер; умение, ловкость, знание придут сами собою. Только бы не переставалось «хотеть».

Главное, не рисковать, а это именно возможно только лишь при характере. Еще недавно была, при мне уже, в Петербурге одна подписка на железнодорожные акции; те, которым удалось подписаться, нажили много. Некоторое время акции шли в гору. И вот вдруг не успевший подписаться или жадный, видя акции у меня в руках, предложил бы их продать ему, за столько-то процентов премии. Что ж, я непременно бы и тотчас же продал. Надо мной бы, конечно, стали смеяться: дескать, подождали бы, в десять бы раз больше взяли. Так-с, но моя премия вернее уже тем, что в кармане, а ваша-то еще летает. Скажут, что этак много не наживешь; извините, тут-то и ваша ошибка, ошибка всех этих наших Кокоревых, Поляковых, Губониных. Узнайте истину: непрерывность и упорство в наживании и, главное, в накоплении сильнее моментальных выгод даже хотя бы и в сто на сто процентов!

Незадолго до французской революции явился в Париже некто Лоу и затеял один, в принципе гениальный, проект (который потом на деле ужасно лопнул). Весь Париж взволновался; акции Лоу покупались нарасхват, до давки. В дом, в котором была открыта подписка, сыпались деньги со всего Парижа как из мешка; но и дома наконец не достало: публика толпилась на улице — всех званий, состояний, возрастов; буржуа, дворяне, дети их, графини, маркизы, публичные женщины — всё сбилось в одну яростную, полусумасшедшую массу укушенных бешеной собакой; чины, предрассудки породы и гордости, даже честь и доброе имя — всё стопталось в одной грязи; всем жертвовали (даже женщины), чтобы добыть несколько акций. Подписка перешла наконец на улицу, но негде было писать. Тут одному горбуну предложили уступить на время свой горб, в виде стола для подписки на нем акций. Горбун согласился — можно представить, за какую цену! Некоторое время спустя (очень малое) всё обанкрутилось, всё лопнуло, вся идея полетела к черту, и акции

потеряли всякую цену. Кто ж выиграл? Один горбун, именно потому, что брал не акции, а наличные луидоры. Ну-с, я вот и есть тот самый горбун! У меня достало же силы не есть и из копеек скопить семьдесят два рубля; достанет и настолько, чтобы и в самом вихре горячки, всех охватившей, удержаться и предпochсть верные деньги большим. Я мелочен лишь в мелочах, но в великом — нет. На малое терпение у меня часто недоставало характера, даже и после зарождения «идеи», а на большое — всегда достанет. Когда мне мать подавала утром, перед тем как мне идти на службу, простылый кофе, я сердился и грубил ей, а между тем я был тот самый человек, который прожил весь месяц только на хлебе и на воде.

Одним словом, не нажить, не выучиться, как нажить, — было бы неестественно. Неестественно тоже при непрерывном и ровном накоплении, при непрерывной приглядке и трезвости мысли, воздержности, экономии, при энергии, всё возрастающей, неестественно, повторяю я, не стать и миллионщиком. Чем нажил нищий свои деньги, как не фанатизмом характера и упорством? Неужели я хуже нищего? «А наконец, пусть я не достигну ничего, пусть расчет неверен, пусть лопну и провалюсь, все равно — я иду. Иду потому, что так хочу». Вот что я говорил еще в Москве.

Мне скажут, что тут нет никакой «идеи» и ровнешенько ничего нового. А я скажу, и уже в последний раз, что тут бесчисленно много идеи и бесконечно много нового.

О, я ведь предчувствовал, как тривиальны будут все возражения и как тривиален буду я сам, излагая «идею»: ну что я высказал? Сотой доли не высказал; я чувствую, что вышло мелочно, грубо, поверхностно и даже как-то моложе моих лет.

III

Остаются ответы на «зачем» и «почему», «нравственно или нет» и пр., и пр., на это я обещал ответить.

Мне грустно, что разочарую читателя сразу, грустно, да и весело. Пусть знают, что ровно никакого-таки чувства «мести» нет в целях моей «идеи», ничего байроновского — ни проклятия, ни жалоб сиротства, ни слез незаконнорожденности, ничего, ничего. Одним словом, романтическая дама, если бы ей попались мои записки, тотчас повесила бы нос. Вся цель моей «идеи» — уединение.